



Юз Алешковский

СИНЕНЬКИЙ

СКРОМНЫЙ

ПЛАТОЧЕК

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

**СИНЕНЬКИЙ
СКРОМНЫЙ
ПЛАТОЧЕК**

(СКОРБНАЯ ПОВЕСТЬ)

CHALI DZE PUBL. NEW YORK 1982

Yuz Aleshkovsky

**THE LITTLE BLUE KERCHIEF
A SORROWFUL TALE**

Copyright 1982 by Yuz Aleshkovsky

**Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018**

Manufactured in the U.S.A.

Памяти матери, отца и брата

Гражданин генсек, маршал брезидент Прежнев Юрий Андропович!

К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть — лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом как солдатская портянка периода окружения.

Ни ответа, как говорится, ни привета не имею, хотя лечащий враг, вот именно не врач, не доктор, но враг не отказывает мне лично в бумаге и говорит:

— Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я,— говорит, — докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни.

Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать!

Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдовушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет.

В этом месте слезы капаят из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формою клякс...

Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу, ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина.

Третьего дня созвал он нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал, лишением папирос-сигарет пригрозил.

— Вы, — говорит, — сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть наихудшими помоями обливаете, на путь выздоровления от диссидентства вставать не желаете, но про "Малую Землю" и слышать не хотите!

Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой "малой земли" на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля — это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и соответственно отливы мочи сами знаете от чего.

Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил, черт знает каких затей и завсегда считал луну землюю малой.

Луну же, в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане.

Так втолковал нам на конференции, после читки вслух "Малой земли", Втупякин.

Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее "Луна". Если же назвать "Большая луна", то это неправильно будет, вроде "Малой земли".

Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что ленинскую премию за литературу поделят

поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того, как ее делят между космическими конструкторами и деятелями атомных бомб. А потом придет время и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев... Узнал бы! Узнал!

Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле, Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.

Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы перехожу к самым, что ни на есть обстоятельствам второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-то за что держите тут? Ведь, если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.

Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелено не доверять в наше время признанию изолгавшегося негодяя. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярым крондштатцем Вдовушкиным (sic!) С этой целью Вдовушкин-сын (курсив мой. В. Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида

Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеил подобные штучки чудеснейшим глаголом "махнуться".

Священный долг коммунистов не только поддержать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира. (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха — Авенариуса не могут понять, что закопанный в первичное, эрго, в материю, неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдовушкин Петр — сын злейшего кронштадца и тред-юниониста Вдовушкина старшего.

Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением — этим гнусным служакой империализма. Оно (общественное мнение, примеч. верно. В. Л.) якобы обосновано (см. мою докладную записку XIV съезду. В. Л.) считает нашу поддержку нац. осв. движения всего навсего стратегически-хитрой мотивировкой, фактически фиговым листком (курсив мой. В. Л.) прикрывающим гегемонистские неоимперские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных

скобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.

Пусть ЦК обратит внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса — вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусенького. Пора завоевать общий рынок с его несметными продзапасами. Жду свидания с Надежкой. Вот выпишусь и доспорим с путаником Суловым относительно опасности обуржуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком. Вл. Ульянов (Ленин).

P.S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.

P.S.S. Электрон практически исчерпаем.

P.S.S.S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовушкине будет положительным, поскольку советские профсоюзы — школа коммунизма.

Ваш Вл. Ленин (Ульянов)

Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не слушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать — слезы лить — о погибшей понапрасну жизни.

В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Втупякин их называет по-медицински чокнутыми шизиками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их — в дурдом! Я своим крестьянским умом мало

чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы — говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий — раб малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами что-ли не видите? А верить в Бога почему людям не велите? Верно люди говорят, что только в старом Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху в церкву пошел, а его лягавые мало того, что не пустили, но еще и бока, сволочи, намяли, и безумцем объявили, чтобы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснуть в случае чего может. Мы же — терпи и не гавкай, не то в дурдом — под электрошок, инсулин и проклятую химию!

А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мьтарств. Душевные они люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:

— Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение,— говорит,— это никотин для народа!

Ну, Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах.

— Ты,— орет,— учение мое обдристал и меня с дерьмом смешал, а еще молодому Марксу курить

не даешь, большевистская рожа, сифилитик, садист!

Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А, главное, бороду ему Втупякин не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда!

А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть кто он таков есть на самом деле. Может он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?

Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соединились они — тут всем им и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе, с ихней диктатурой как зайцев и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни перднуть измученной душе.

Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю — голова евоная в каске лежит, как бы в миске глубокой и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и тарашит, а где

сам - неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видать. Только комиссар орет: "За Родину! За Сталина, сволочи, за власть советов!" А я бы и рад, может, за родину помереть, всем миром все же помирили, но за Сталина помирать, было в душе такое мнение, ни за что мне не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве ж не сумасшедшее это дело помирать за кровопийцу, который родителем твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, спасибо бабка в деревню увезла? Потом, к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того, что завел, скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите маршал, за выражение.

Так вот, как услышу "за родину", так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как добавит комиссар "за Сталина", так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, по-моему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помещает солдату помереть за родину. Верно?

А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны — тьма. Им же велено было вперед выбегать, "за родину, за Сталина" орать. Вот они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что

летят они сломя голову с "ТТ" в руках, а солдаты на 180 градусов и снова — ничком в окоп, колени в подбородки вжимать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал, чуял, сволочь, что солдат помирать за него не хочет, забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпокать, без сомнения, в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуще прежнего вопить стали "за родину, за Сталина". Глотки-то у них с семнадцатого года луженые и, главное дело, орать то одну пустобрешину, то иную.

Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сылет, пулями свет Божий прошил, нету мочи сопротивляться. С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкелетины, смерти то-есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два счета, а это проще простого, что с Родной-то станет? Может Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали с двух концов, спереди танки-минометы, сзади — комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приставишь. Народу больше было, слава Богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.

Ладно, думалось, при, фюрер, при зараза волчья, прите, крысы фашизма. Заманим мы вас покутузовски в конце концов в такую крысоловку

что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.

Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я — русский Иван в том числе, а не вы — маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя "героями". Стыдно. Стыдно, генсек.

Ох, как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшной который, как я тогда, Господи, зарыдал. Век не забуду.

Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку героическую дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: "Будет, братцы. Вы уж ... тово ... перегнули слегка."

Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного Солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:

-- Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождями это бывает. Твое это — все

золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душой новороссийской операции. Прости. Но и пойми; не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую орденами увешанную. Народ — он что ребенок. Если батяка помер — отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зрения. Так что прости, солдат. Царство тебе небесное!

Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.

Гляжу на вас тогда по телику и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу.

Боже мой. Что я наделал? Как я жил?.. Рыдания враз затрясли меня, почище инсулинового шока...

Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку неизвестного солдата, то-есть самого себя, вернее Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича,

каковым и числюсь по истории болезни приписанной мне Втупякиным — кандидатом сумасшедших наук.

Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить непременно и главное.

Прибегаю, реву не в голос, по-бабьи, а ввнутрих и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом.

Падаю на колени перед негасимым синим огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, морсящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающимся лбом и стенаю:

— Леня! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей по-смертной. Я ведь думал, что живой — я, а ты — мертвый, но все теперь наоборот. Прости... Исправлю такое положение. Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени — до Страшного Суда, перед которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня — пытка. Пытка. Прости, Леня!

Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему приближаю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:

**ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ
РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л.И. БАЙКИН.**

“Погиб смертью храбрых” не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в

нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрели нас Гитлер со своим дружкой Сталиным.

Несу плакат на могилу, несу с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от вьевшегося в душу стыда... Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает...

Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:

— Хватит, Леня. Будь ты Байкиным теперь самим собою, а я принимаю прежнее истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.

С этими словами ухожу... Дома радуюсь ну, прямо как маленький мальчик. Чист! Чист! Главное — чист, а все остальное приложится: И возмездье за злодейство многолетнее, и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее и все такое прочее...

Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал?.. Нас каждый божий день не зовут в кремлевский дворец жрать "столицу" и балыком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо...

Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут. На работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.

Всю ночь пою, надрываюсь...” идет война народная, священная война... 22 июня ровно в четыре часа... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... и у детской кровати тайком ты слезу вытираешь...”

Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида... Но ладно...

Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной Нюшки, Настеньки, Анастасии усилием воли своей, покалеченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Культя блаженно от него отдыхает. А сама нога моя правая знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байкиным Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось... Плачу и пою — собака одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой...

И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по развозу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял и — все.

Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижильный был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не

тупой, с добрым сердцем — нормальный, одним словом, русский человек, не до конца еще припохабленный советской крысиной властью...

Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был... На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж вниманья не обращал. Ибо такая запредельная тоска разрывала мне душу от того, что ползли мы по растерзанному, небранному полю побитой, вытоптанной, втоптанной в прах земли, выжженной ржи, что кроме тощицы этой и настырной силы, внушенной свыше ничего во мне не было. Ничего.

— Леня, — хриплю яростно, — Леня, Бога бойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас — такие жалкие мы и страшные небось, ползи родной, спастись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня...

Немного оставалось нам до низинки, до деревьев измочаленных жутким железом... От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища... Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле...

Окопчик от танка нас спас. но он же Леню и погубил.

Я уж думал: все — спасены... темнеет... до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем... черт с нею с едой... сон важнее человеку любой еды... суток трое мы уже не спали... за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?

В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю: успел я услышать сам взрыв, или не успел... Неважно.

Отряхаюсь от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я — окаянный. Леня, мой друг рядышком лежит, словно спит, глаза закрыты, на губах — улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка, а тормошить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронута. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоправимо ранен. Лежу я поначалу и не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек что лучше. Но живым жить надо.

Дрыгнул одной ногой — на месте. Дрыгнул второй — нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было — пускай Втупякин думает, на то он и кандидат наук. Может еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.

Тянусь рукою к бедной ноге, неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда — хана... Но — нет. До коленки дотянулся — счастьем меня просто пронзило: цела коленка, Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.

Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь, брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же, или немного погодя, дуба врезал бы, а я — человек крестьянский — губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причандалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухариков, правда, не осталось в сумке. Рубанули мы их с Леней... Ну, и прочая мелкая штука-вина была там вроде ножа, ложки, неважно, впрочем, все это, маршал...

Обрабатываю культю йодом. Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода... Может контузило так, что стебанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато... Перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови — это я уже не говорю. Это — пустяковина.

В глазах — черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах — тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы... Беспамяństwo вдруг одолело меня, а может кровищи потерял много и от этого внезапно испекся... Не знаю сколько времени так прошло...

Очухиваюсь... Фу ты. Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня на удивление как у собаки, кошки и птицы. Неважно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.

Бой, кстати, все еще идет... Медсестер не видеть нигде... Поубивало небось сестричек, перебило деточек бедных... Сколько времени непонятно...

Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколком пробита. Но спасла, однако, спасла...

Контратака наша бесполезная, смотрю, пошла. Понимаю, что чувят солдаты гибельную опасность такого боя, всю зрящность его чувят, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.

Но Втупякин-то прет-комиссарище — сзади, за Родину! За Сталина! орет. На верную ведь смерть сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.

Косит фашист солдат, просто аккуратно косит, ибо окопаться успел как следует. Зачем ему своя атака, если Втупякин гонит солдатиков, как скот на советский мясокомбинат, прямо на вражьи пулеметы и минометы?

Боже мой, сколько их на глазах моих полегло...

Вот завернул, согнувшись в три погибели один солдатик обратно. Втупякин сходу — пулю ему в лоб... Еще двое завернули. И их выводит в расход Втупякин. С тылу солдатского сподручно ему это. Вот — гадина. Спереди немец косит солдатиков, сзади Втупякин бьет в лоб.

Беру, не раздумывая, винтовочку свою, номер вот забыл, вскидываю, и спасая от смерти брата своего — солдата, шпокаю Втупякина в спину

евонную, португеей комиссарской перехваченную. Падают с копыт.

Солдаты, вся цепь, враз, как по команде, залегли. И немцы примолкли, не стреляют. Тишина. Словно совесть их взяла стрелять в форменных самоубийц. А могли, могли перебить всех начисто. Может ждали, что в плен наши сдадутся?.. Не знаю. Факт описываю.

Тут туча чернющая небушко застлала. Тьма адская поле боя накрыла, но дождь не пошел. Тошно ему как бы было разбавлять благославленной небесной своей водицей грешную и несчастную человеческую кровь...

Тихо кругом. Ни выстрела, ни голоса. Притомились люди вместе с техникой и сама собой ночь пришла вскоре.

Зашевелились прилегшие было солдатики. Грязь зачавкала. Ползком кто куда откатились. Отступили. Спаслись для будущего победного боя.

О Втупякине я и думать даже не стал. Полезное в данный момент войны дело сделал для Родины и для народа без сожаления и не сомневаясь ни на грош. Потому что он — Втупякин — убийца был истинный, а не я.

Хотел я крикнуть, спасите, мол, братцы, рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую буковку. Хрип какой-то один. Контузия видать не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.

Снова ору. Снова один хрип... Ну, и откатились солдатики без меня, а я в окопчике один рядом с Леной остался. Так-то вот...

Пишу, маршал, по вечерам. Втупякин пьяный дрыхнет в процедурной. До утра продрыхнет, если, конечно, ЧП не случится. Тут всякое бывает. Чаще всех Ленин с молодым Марксом дерутся. Схватят друг друга за грудки и орут, яростно задыхаясь:

— Плевать я хотел на все базисы и надстройки. Я теперь — субъективный идеалист. — это Карла Маркс орет, а Ленин взвизгивает:

— Мы все равно придем к победе коммунистического труда.

— Нет. Ни за что не придем.

— А вот и придем, и придем, и придем.

— Даже и думать нечего. Не придем. Итак уж дошли до ручки, герр Ильич.

— Ликвидаторская рожа, — надрывается наш Ленин, — догматик и архимерзопакостный ревизионистишка.

— Жаль Фридриха рядом нету. Мы бы тебя головой твоей в парашу затолкали и на Красной площади выставили ногами кверху, как Гегеля на всенародное обозрение.

— Мелкобуржуазная образина. Ты — подлец и не выдержал испытания времени. Ты сахар экспроприруешь у меня по ночам. Нонсенс. Скотина. курсив мой. Посмотри на расстановку сил на мировой арене, хулиган. Мы дружной кучкой вместе с политбюро идем по краю пропасти, крепко взявшись за руки. Из конфликта советской власти и партии с народом победителем выйдет партия и власть, а народ станет эффективным двигателем истории. С кем вы, господин Маркс?

— С кровавой большевистской мразью и философией вшивоты я — молодой Маркс даже какать рядом не сяду. Понял, сковородка картавая?

Тут Ленин прищуривается, ручки потирает довольный и пользуется самым подковырочным своим оружием. Ехидно так напевает:

— Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара-то Цеткин украла у Карла кларнет... Вот — наша коммунистическая скороговорочка, батенька... Ха-ха-ха... Ты украл у Карлы Клару и кораллы и кларнет.

Это уже драка. Разнимать их приходится. Дадим, бывало, обоим по хребтинам и спать уложим. Тошно нам порою от ихней классовой борьбы, провались она пропадом...

Вон — Ленин опять к перу рвется. Зазудело в нем. Ничего не подеаешь, генсек, кроме как марксовой истории болезни нету у нас бумаги, а письма, которых я вам штук сорок уже написал, Втупякин к моей истории подшивает, доктором, сволота, мечтает стать на чужой крови и судьбе, скорпионище гадское...

Докладная записка № 345/678 рп.

Товарищ Генсек, удивлен, что задерживается проведение экспертизы на предмет идентификации проходимца, находящегося в принадлежащем мне (см. пост. ВЦИК от 2.2. 1924 г.) мавзолее. Мое заключение в ряде психиатрических домов, эрго, отрыв меня от внутреннего строительства и оперативных задач Коминтерна отрицательно сказывается на расширении сфер влияния Советской власти во всем мире.

Ситуации во взрывоопасной Восточной Европе, равно как и на Кубе, Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Ливии и Никарагуа нельзя считать стабильными (sic). Давайте посмотрим правде в глаза: многолетняя компрометация идей социализма и особенно коммунизма практикой существования стран так называемого соцлага требует от нас для достижения главной цели – уничтожения старого мирового порядка – новых методов тактики в рамках органически свойственной нашей программе глобальной стратегии и полнейшего политического аморализма.

Объективно детант продвинул наше дело далеко вперед, но посиживание на лаврах – смерти подобно. История не простит нам замораживания наших стратегических классовых активов. Мы обязаны пустить в оборот все завоеванное нами с таким титаническим трудом и невероятные лишения рабочего класса стран социализма за долгие годы детанта – этого начала конца традиционного политического мышления старого мира.

В наших руках, благодаря логике истории, оружие неслыханной силы, а именно: скотское желание всех народов без исключения МИРНО (курсив мой. В.Л.) жить в на части раздираемом противоречиями капиталистическом мире.

Военное превосходство плюс неослабеваемый шантаж угрозой ядерной войны наряду с беспринципной борьбой за так наз. мир во всем мире, с активным подрывом всех экономических, моральных, государственных и правовых и прочих структур, изумительно готового к полному уничтожению старого общества приносят плоды на наших глазах.

Близок час, когда мы вымостим полы в сортирах золотом и бриллиантами чистой воды.

Считаю безотлагательным делом (см. июньские тезисы) строительство мемориальной европейской стены расстрелов и составление списков вырожденцев, подлежащих казни партии и народа, начиная с ведущих банкиров (не забудьте цюрихских гномов. ха-ха-ха-ха. Смех мой. Вл.ЛЮ.) и глав монополий, и кончая более мелкой сошкой типа Коррильо, Берлингуэра, Леха Валесы, Барышникова, Корчного, Солженицына, Рейгена, Максимова, Хейга, Абрама Терца и временно остающихся в живых Битлзов.

Необходимо на все сто процентов использовать пораженческие настроения господ западных либералов левого толка, с их дурацкими (относительно нас. курсив мой. В.ЛУЛЬЯН.) розовыми идеями и декадентствующую интеллигенцию, невыносимо погрязшую в утонченных сексуальных безумствах и наглom наркоманстве.

Существует, однако, опасность забвения предоктябрьского опыта российской истории, приведшего к свержению царизма и недолговременному установлению диктатуры пролетариата, который диалектически перешел после десятилетий красного террора в диктатуру партии — ума, чести и совести нашей эпохи.

Необходимо запомнить: никакое кокетство с объективно и субъективно пораженческими кругами не помешает нам выделить для них в ближайшее время небольшой участочек Стены Расстрелов, сиречь стенки (примеч. верно. В. УЛЬ). Возможно, это будут одни из последних

расстрелов в предистории человечества. В коммунизме же, то есть, собственно В ИСТОРИИ (курсив мой. Вильич.) расстрелы уйдут в далекое и проклятое прошлое, оставшись лишь единственным способом разрешения наших партспортов.

Если прискорбный и неслыханный акт отлучения меня от дел и более чем полувековое заточение в дурдомах СССР не помешали победоноснейшему шествию идей социализма и коммунизма по земному шару, то это — лучшее доказательство жизнениости учения пожилого Маркса, которое всесильно, потому что оно верно, что бы не болтал господинчик, прикидывающийся нашим Прометеем. Ничтожество.

Привет тов. Андропову — славному ученику Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берия и др. за принципиальное отношение к близоруким иудушкам и прочим внутренним диверсантам.

Необходимо, архинеобходимо для нашей политической мобильности раз и навсегда пресечь разговорчики о пресловутых свободах слова, творчества, совести, перемещений, манифестаций и критики в адрес партруководства — этого коллективного разума нашего времени. Ваш в. Л-н.

Прошу управделами совнаркома выделить мне дополнительно 300 (курсив мой. В. У.) грамм сахара для стимулирования высшей мозговой деятельности и прекращения мною ряда вынужденных экспроприаций сладенького из тумбочек господ-диссидентов и прочих врагов трудового народа.

Я — за эксгумирование останков неизвестного солдата с целью нахождения среди них правой ноги тов. Вдовушкина Петра. Во время взятия Зимнего его отец оказал партии ряд неоценимых услуг. Затем был расстрелян за попытку навязать нам дискуссию о социальном перерождении партэлиты.

Трилогия тов. Брежнева — архиинтересная книженция. До этого генсека в нашей литературе даже меньшевика не было, не то что ликвидатора.

Просто — глыба. Матерый человечеще. Скиньте к чортовой бабушке господина Достоевского — этого трупопоклонника — с фронтона библиотеки, заслуженно носящей мое имя, и присобачьте туда, батеньки, бюст нашего партийного писателя №1. Рекомендую присвоить Л. И. Б-У. звание вождя современного литпроцесса. (См. мою работу "Беспартийная мразь в литературе и очередные задачи красного террора в связи с его расширением в особо важных регионах мира.)

Ваш Ичьлиульян.

Весьма удивлен, что тов. Брежнев въехал в Париж во время своего визита во Францию не на броневике, который я, кажется, предоставил к услугам партии и народа, а черт знает на чем, чуть ли не на "кадиллаке". Нонсенс. товарищи.

Ваш Чичь Нинел.

Бросьте все средства на усиление конфронтации арабских стран с Израилем — этим уродливым порождением бундовщины и гадкой исторической плантацией опиума для народа. Не забывайте,

что все абсолютно источники нефти станут главным фактором организации всемирного экономического кризиса, который позволит взять нам власть в свои руки в основных капстранах мира.

Пора уже сказать нефтяным шейхам всех мастей: шагом марш из-под дивана... И дайте же мне наконец, свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей сощячейке с 1924 года.

Ваш Владимильичле.

Долго больно писал наш Ленин, генсек. Зря вы его держите тут без экспертизы. Очень зря. Видно ведь, что умный человек и говорит занятно. Может верно, что если бы он лежал в мавзолее, а не какой-то другой хмырь полуболотный, то давно бы уж всем войнам пришел конец, несправедливости, капиталистам, забастовкам в Польше, танцплощадкам и прочему старому миру. Кто знает? Так зачем Втупякин — гаденыш издевается над самым настоящим Ильичом? Он что сказал, пьяная харя, третьего дня?

— Выдь-ка Ильич сраный, Ленин затруханый, на балкон из моего кабинета. Хватит тебе тут прищуриваться и жилетку несуществующую большими пальцами растопыривать. Выдь!

Но Ленин-то наш не будь дураком отвечает:

— С детства боюсь высоты, эрго: на балкончик не выйду, батенька. Сыграйте мне лучше сонату, после которой хочется умыть руки и гладить по головкам.

— Вот я тебя, змей, и подловил, — обрадовался Втупякин, — никакой ты не Ленин, потому что

Ленин с балкона балеринки Кшесинской выступал, речугу кидал народу и, заметь, не блеванул на него сверху вниз ни разу. Эрго: не Владимир ты Ильич Ульянов-Ленин, а мерзавец и симулянт, расстративший миллион казенных рупчигов в Сочи, Ялте, Вильнюсе, Москве и в Тбилиси, а теперь голову морочишь здесь отечественной психиатрии — науке нового типа, грудью вставшей на защиту советской власти от дружков твоих по палате. Мы вам — обезьянам вернем человеческий облик. Что ты, что Маркс — одна сволота. Марш — под душ Шарко.

Ну, Ленин наш, как всегда — в слезы, но руку вперед выбрасывает с форсом эдаким комиссарским и на весь дурдом орет:

— Мы придем к победе коммунистического труда. Мавзолей — не купе бронепоезда. Вон из мавзолея симпатичного грузина. Капитал расстратил не я, а Маркс...

Если вы там у себя в Кремле считаете, что в мавзолее настоящий лежит, а не туфтовый Ильич, то чего же вы этого не расстреляете? Почему отпечатки пальцев не делаете нашему по его же просьбе? Разве он стал бы просить сравнивать свои пальцы, если бы не чуял, что он — эрзац Ленин? Нет. Никогда... Или — взять меня, маршал.

Почему я требую вырыть (можно в тайне от простых людей доброй воли, чтоб не расстраивались они) остатки друга моего Лени и среди них опознать мою личную правую ногу? Потому что она, там и негде ей больше быть, кроме как там с Ленею вместе. Вырой ты ее и сразу тогда станет

ясно, что не Вдовушкин стал неизвестным солдатом, а Байкин Леонид Ильич, чью фамилию ношу с 1941 года ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война... Моя там нога. А иначе разве стал бы я заваривать такую неприятную для всех кашу? Я по совести желаю и по чести. Неужели же легче измываться тут надо мною, лекарства венгерские и восточно-германские изводить на меня целую кучу, электротоком трясти, на ветер его пуская, кормить, лекции про "Малую землю" читать и санитаров держать с тигриными рылами, чем на пару только минут вырыть из земли мою оторванную ногу, анализы взять костей и портянки, сравнить, одним словом, и сомнений не осталось бы насчет того, кто есть кто. И все. И никто передо мною виноват не будет, а буду виноват перед всем миром один я за укрывательство своего имени, измену отчеству и переломанную тем самым судьбу... Подумайте...

Лежу я, значит, маршал, в окопчике, Леню по чистому, холодному уже лбу глажу... А боль вдруг засадила в культе, притекла, зараза, наконец, хоть вой как собака, непонятно кому жалуюсь. Мочи моей нет, ровно не кровь течет от культы к мозгам через сердце и обратно, а боль, густая такая, свербежная боль.

Нет, думаю, от боли я помирать не желаю. От раны — пожалуйста, а с болью я стыкнусь. Нам к боли не привыкать. В НКВД было дело, два месяца держали, шили попытку вымачивания картошки перед посевной с целью убийства урожая

для голода в Москве. Картошку, дурак пьяный из рабочего класса, дубина райкомовская — Втупякин приказал вымачивать, ускорять по-большевистски цикл роста упрямых растений, а меня за него день и ночь колошматили, признаваться велели по-добру, по-здорову. Втупякин сам и пытал меня со своим дружкой из НКВД вместе... Бывало, в общем, и телу и душе побольней, чем в окопчике. Выдужил. Выгнали. Прямо с печи с ребрами сломанными в поле погнали остатки картошки той изуродованной убирать... Втупякину же, слух пошел, расстрел вышел сверху...

Не желаю от боли помереть. Сильней я боли. Ползу из окопчика, благо луна выглянула на чуток и офицера немецкого различаю совсем рядышком... Ползу к нему в надежде и мольбе... Шамонаю ранец офицерский. Про боль забыл враз... В ранце — фляжка, жратва, медицина всякая, трофейных орденов Ленина целая куча — на зубы золотые родственникам в Берлине...

Отступаю на исходный рубеж. Боль снова забрала вдруг, да так, что в беспмятство пару раз погружался... Ничего. Дополз с Божьей помощью.

— Леня, — говорю, — как бы мы сейчас с тобой гужанулись, может в последний раз перед новым, смертельным для нас боем. Смотри, друг. Вот коньяк, он — не водка, конечно, клопами отдает, но закосеть можно. Вот — колбаса наша любительская, врагом завоеванная, хлеб есть, Ленечка, сыр, масло, яйца, смотри как запасся офицерик несчастный, словно к бабе в гости шел, а не на военную операцию. Отбили-таки мы у него кровную

жратву нашу. Отбили, но с большими потерями, Леня...

Погиб мой дружок, помалкивает. Но Душа его поблизости находится, чую я это замечательно и поминаю вместе с нею Леню, друга моего фронтового, печально и светло поминаю, жахаю коньяк из горла.

Стихает боль. Слабо, но стихает... Ни звездочки на черном небе, ни звука на поле боя, лишь сердце стучит жарко, боль тупо топчется в жалкой культе... Один я, поистине один, во всем мире, растерзанный проклятым военным железом, рваными его кусками...

А зачем я, думаю, растерзан? За что ногу я свою потерял? За то, что лобызались два бандюги, обнимались, а потом тот, который поумней и позадиристей, приделал к носу тухлую морковку скотине несусветной — Сталину?... Зачем я нахожусь в данный момент истории своей Родины не на кровати двуспальной, рядом с женой желанной, с красавицей моей розовой после баньки, сам — чистый и сильный, а в углублении валяюсь могильном, разве что не закопан только и нет мне помощи ни от врагов, ни от своих? Зачем?... Что же они — проклятые эти политики и вожди в игры нас свои кровавые замешивают, сами в подземельях с бабами своими и дружками посиживают, по картам смотрят поля боев, а мы тут отдуваемся по пояс в землю вбиты с оторванными руками, ногами и головами. При чем здесь мы?... По какому такому закону жизни?...

Глотнул еще маленько — мозги прочистить от заковырочных вопросов. Да, говорю, Леня,

видать имеется суровый и глупый закон, по которому вожди проклятущие (почему ихним батькам вовремя дверь в амбаре женилки не прищемило?) кашу вожди кровавую заваривают, а нам — беднягам ее положено расхлебывать от века... На то мы, Леня, и солдаты, защитники. И если бы не мы, то кто за нас Землю нашу невинную защищать будет? Вожди? Они, Леня, обдрищутся пять раз со страха и захнычат: "дорогие братья и сестры". К нам — к народу обратятся за спасением и мы их гадов спасать вынуждены вместе с Родиной, потому что в Родину несчастную они все как клещи вцепились, особенно Сталин и их уже никак от нее не оторвешь. А если бы можно было оторвать, то я бы, видит Бог, поначалу до открытия военных действий оторвал их, выкинул к чертям на необитаемый остров и пушай они там с жульверном фантазируют, суки. Вожди — они, Леня ты мой бедный, на погибель и большую беду нам дадены, а вот мы вручены им на ихнее паразитство и спасение. Тут уж ничего не поделаешь... Судьба это наша, а главное — грехи наши тяжкие, как бабка говаривала, Царство ей Небесное... Повезло-таки старухе: перед самой войной померла... Вот мы лежим тут с тобою, колбасу любительскую у врага отбив, а также сыр и яйца крутые и трофей взяв — коньяк. И на нас, Леня, вся тяжесть сейчас. Выдюжить надо во что бы то ни стало. Сначала фюрера — глистопера усатенького к ногтю приделаем, а потом, может, и за друга его возьмемся, чтобы запел он да кучу в кальсоны наложил, где же ты моя Сулико?..

Тут, маршал, хочешь верь, хочешь не верь, засмеялся я, как дурачок и вдруг потрясло что-то душу мою грешную и бедную, веселье жизни ее, по всей видимости, потрясло, и запел я ни с того, ни с сего, пьяный, разумеется был "синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... 22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили нам объявили, что началась война... порой ночной мы расставались с тобой... чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной..."

Конечно, маршал, в песне про бабу говорится и как уходить от нее ночной порой неохота, но на самом, конечно, деле песня эта про Родину, и не то что "широка страна моя родная много в ней лесов полей и рек я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...", а с душою, по правде сердца и без всякой враки комиссарской. Не знаю кому до войны вольно дышалось. Небось только падле усатой и своре евоных молотовых, калининых и кагановичей, а нам даже в колхозе вольно дышалось лишь запершись в нужнике собственном... Ну, это — ладно...

Пою, ожил голос контуженный, горланю во все горло, слезы текут прямо в рот, рыло стянуло грязью подсохшей, горе и боль разрывают все нутро, но что-то неудержимо поднимает душу мою из этого окопчика, страшно даже, чудесно даже, пою, однако, и пою, и внятно жаль мне Леню и небо чернящее, и себя-калеку, и Ньюшку, Настеньку, Анастасию — жену молодую, непробованную как следует, двух дней не дал пожить Втупякин — военком проклятый, и гораздо больше, чем всех, жизнь мне, вообще, жаль всю

жизнь, что мы люди — сволочи делаем с нею, во что мы поле превратили, зачем хлеб несжатый с костями смешали мы, с кровью, с плотью, с землей, зачем синенький скромный платочек, Господи, прости и помилуй, падал с опущенных плеч... строчит пулеметчик за синий платочек... идет война народная священная война-а-а...

И что это? Слышу вдруг солдатское наше ура, да такое богатырское, что будь я врагом в тот миг — непременно обдристался бы от ужаса.

Во тьме крошечной, в ночи, когда, вроде бы, сами фрицы умаялись вусмерть воевать, когда, вроде бы судьбой самой выделено милостиво времячка маленько для передышки, поднялись солдаты и поперли, и чую я, что не Втупякин их гонит с тылу дулом в спины, а по личному почину "— Ура-а-а!" горланят и прут на врага уже неостановимо, потому что не дурак солдат "уракать" далеко от вражеской позиции.

Поздно было, клевавшему носом фрицу-фашисту, гоночиться. Поздно.

Я и на слух понял, как там дело обернулось. Посочувствовал, грешен, немцу, ибо не могу злорадоваться, когда даже врагу моему штык в пузо втыкают до кишок самых, и изо рта его такой звук возникает смертный, что зверь содрогнуться может, не то что живой человек. А если не один десяток людей хрипит, стонет и крикает, полав на штык?... Но и не лезь за чужим добром, скотина, сам виноват, небось в ранце у тебя наша колбаска валялась любительская, а не я за твоими сосисками с капустой поперся в Баварию... хриши теперь, гад, в последнем покаянии и вине твоей передо мной.

Отыгрались, чую, солдаты наши за прошедшие в отступлениях и смертях страшные дни... "За Родину-у! Ура-а-а!!" "За Сталина" чтобы орали солдаты — не слышать. Если б не комиссары, солдат про эту рябую, разбойную рожу вообще бы на войне позабыл к чертовой матери...

Я, конечно, ору им вслед: "Братцы-ы-ы... братцы-ы-ы..." Молчок. Ни ответа, ни привета. Вдогонку бросаться за ними на последней ноге — не было во мне, маршал, такого героизма, виноват...

Бог с вами, думаю, валяйте, раз прорвали окружение, я для вас — верная обуза, ярмо на шее, веревки на руках, сам выкрутиться из лап смерти мосластой попробую...

Солнце тут вышло. Заря. А от нее совсем поле боя чертовой багровой жутью застлало. Все багровое — пушки, трупы, танки брошенные, рожь полегшая. Земля развороченная и выпотрошенная как бы до самого нутра кровью истекает бесполезной... Из культи сразу боль в душу мою поднялась, один я — живая личность — на поле боя кровавом и потом вдруг пришибло меня от стыда и позора.

Смотрю из окопчика на небо, на поле и краснею, маршал, перед Всевидящим, как пацан перед батькой нашкодивши чего-то. Краснею, взгляда Его не выдерживаю и чую, что наделали мы — люди опять такого зла ужасного, опять наделали такого зла, непонятно ради чего наделали и как это вообще могло произойти, что только краснеть остается и возжелать сей миг сквозь землю истерзанную провалиться, лишь бы не видеть дел рук наших, непосильных для уразумения.

Наверно, если б вторую ногу оторвало мне тогда миной, то легче было бы во сто крат: понес бы я наказание, точно зная за что несу его и может душа не скулила бы так безысходно... Вот как дело было на Земле, а что такое малая земля я не понимаю. Скорей всего — луна, где жизни нет, одни оспины каменные, как на роже у Сталина... Но — ладно...

И вот — со светом замечаю поблизости знакомую мне, родную, вернее, ногу в сапоге, раскуроченном взрывом. Добрый был сапог.

— Леня, — говорю, — сапог мой — вона.

Совсем тогда рехнулся, позабыл, что Леня не откликнется, сколько его не аукай.

Хлебнул еще для душка из фляги, пополз, долго полз, вертаюсь с ногой своей несчастной в руке. Все, думаю, жить пора продолжать, других дел больше нету, слава Тебе, Господи, отвоевался парень, что-то его дальше болезного ждет?..

Не знаю, как уж тогда бабка моя скумекала, что надо махнутья с Леной документишками — солдатскими книжками. Он ведь был один на белом свете, сирота, и у меня кроме Нюшки оставленной тоже никого не было. Только вот биография моя, как говорится, тянула меня ровно камень под воду. Отец с большевиками в чем-то не столквался, учуял зверя над народом нависшего, хоть и сам был большевиком поначалу, в Крондштате заварушку устроил, ну, ленинцы-сталинцы его и кокнули.

В школе, сами, маршал, понимаете, жизни мне не было, травили, в техникум даже не взяли, не то что в ВУЗ, а я ведь учиться ужасно хотел,

голова была на плечах неплохая, толк бы вышел из меня. Не понимала этого дура зловредная — советская власть... В пастухах ходи, вражий выблядок, яблочко от яблоньки недалеко упало...

Нюшку я за что полюбил навек? Выйти она за меня не побоялась. На всех харкнула с комсомолом вместе, с активистами, стенгазетами и прочей бодягой... Вот какая баба была, маршал...

Бес, конечно, тогда меня попутал, потому что понял, зараза, что совестливый человек на поле боя и перед Господом Богом, глаза потупив, стоит, грехам своим ужасаясь и людскому общему злодейству. Вот и надо его, следовательно, или, как Ленин наш выражается — "эрго", под монастырь подвести. И подвел, гад такой. Что ему стоит?

Я и взял размокший Ленин документишко, карточку сорвал. Свой же засунул ему запазуху. А бес, как сейчас помню, нашептывает: двух зайцев сразу, дубина, убиваешь, советской власти пятачок поросячий к носопырке приделываешь, и Леня будет у тебя вечно-живой, вроде Ленина. Что с того, что Вдовушкина как фамилию ты похоронишь? Сам-то ты ковылять будешь по белу свету, хоть и на одной ноге. Леня же большое спасибо скажет тебе на том свете за живучесть имени своего... Знаешь сколько людей в петлю враз полезло бы, если б пообещали им, что имена ихние переживут надолго их самих после смерти, и не сумлевайся, Петя, Ленею будь...

Я и стал. Вот как было дело в натуральном виде, маршал, и я ни слова не соврал...

Простился с Леней, вернее уже с Петей, с ногою своей простился, портянку, правда, прихватил, чего добру зря пропадать, и так пол России скоро, судя по всему, немец отхватит сталинской роже благодаря...

Присыпал окопчик землею. Могилку, как положено, соорудил. Каску свою положил на нее, а Ленину на себя надел поверх пилотки. Изнутри касок фамилии наши были выписаны.

Помянул затем друга. До гроба, — говорю, — теперь тебя не забуду, милый мой, прощай, прости, извини, может так лучше для живого человека при варварской власти будет? Царство тебе Небесное и моей правой ноге тоже, куда ж ей теперь направляться, не в ад же крошечный? Прихвати, будь любезен, Леня, и ее заодно с собою...

Еще раз помянул. Огляделся по сторонам, чтобы место это не запамятовать. Ужаснулся вновь тому, что люди с землею натворили и с самими собой и пополз в низинку костыль какой-никакой из сука сообразить... Бой тем временем в стороне где-то идет...

Выжил, одним словом, чудом выбравшись из окружения и самой смерти мосластой еще раз хрена с отворотом показав.

Гангрена по-моему начиналась у меня. Думал — все, хана, лучше бы прихватило тебя тогда вместе с Леней, хоть рядышком лежали бы до Страшного Суда...

Собака спасла меня, маршал. Такая же жалкая, бездомная, голодная и затравленная тварь, как я сам... Отмочил я тряпки кровавые, загноившиеся от культуры, в речушке чистой, смотреть

боюсь на то, что от ноги моей правой осталось...

Вдруг собака подходит. Хвостом весьма печально виляет. Обнюхивает отсторожно и тщательно. Не немец ли? Убеждается собака, что русский человек пропадает тут не за грош, и просто так, ровно форменная медсестричка какая-нибудь Машка, Танюшка, Нинка, Тамарка, Катька, Царство им Небесное всем, принимается собака без долгих рассуждений, выполняя, так сказать, служебный свой долг, зализывать культю мою саднящую и внешне ужасную до отвращения и страха.

Шерсть на благородной псине в репьях, в грязище, брюхо подведено под хребтину от голодухи.

Машка, — говорю, — накормлю я тебя сейчас, не бойсь, ежели выживу — скорей подохну, чем брошу, верь Пете, верь Лене. Леня я теперь, Машка, Леня, Леонид Ильич Байкин.

А она хвостом ободраным повиливает, глазами, как доктор из-под очков поглядывает на меня и зализывать культю не перестает.

Чем бы, думаю, накормить мне Машку? Тащусь в лесок потрепанный боями! Нога подгибается, башка кружится, подташнивает от слабости, но тащусь. Не для себя же в конце концов стараюсь, а для собаки голодной. Машка за мной робко тянется, поскуливает от тоски собачьей, припугнула чертова война не на шутку тварь Божью...

В лесочке же ни вдоха живого ни на ветвях, ни под кустиками.

— Выходи, — говорю, — барсуки-суслики из бомбоубежищ, пожертвуйте собой ради человека и собаки. Галки — вороны — сороки — куро-патки, куда вы запропастились все?.. Тихо. Только комарики позуживают, на нервы как самолеты действуют... Беда... Война... Смерть кругом... В двух гнездах упавших птенцы полуголые, дохлые лежат и глаза ихние прикрыты как у людей поси-невшими веками... Тошно было птенцов предлагать Машке, да она и сама есть их не стала, только обнюхала издали и вздохнула от тоски так, что сердце у меня ко всему прочему закололо... Что делать, как Ленин наш говорит, когда ему жрать охота... Брусника, ежевика и малинка в зарослях — не для Машки еда... Хоть возвращайся в мясорубку на поле боя и неси собаке кусок человечины, елки зеленые... Это я так, от безвыходности подумал и от тоски. Были такие собаки в войну, что бесстрашно околачивались около трюпов, в ранцах солдатских и офицерских жратву отыскивали, но Машка была иного рода личность. Она войну по-человечески переживала... Погибала она на моих глазах от этого... Что делать?.. Знал бы, что встречу ее — придержал бы колбаски и сыра с булкой...

Но, если Ленин при таких обстоятельствах в уныние впадает и не знает что делать, то Машка распорядилась умнейшим образом. Села, нос кверху вытянула, облизывается и меня приглашает взглянуть туда же.

Там чуть не на макушке высоченной сосны сова сидела, дрыхла себе как всегда в дневное время... Не она ли над полем ржаным этой ночью носилась? Лишнего страха нагоняла, стерва.

Снимаю из-за спины винтовочку свою. Помехой она, конечно, была для меня, но и без винтовки на безобразии можно было нарваться при встрече с нашими... Где твое боевое оружие, дезертирская харя?... Такой у вас разговор был, маршал, с несчастным солдатом, прорвавшим окружение. А вы его в расход пускали за потерю винтовки, чтобы другим не повадно было, по приказу Сталина...

Снимаю винтовочку, а сил вскинуть ее, как некогда, словно пушинку, прицельясь немцу прямо между рог, нету, чую, таких сил в слабых, мандражащих руках... Кровушка-то потеряна, душа от горя и страха истомилась в лоскуток, и коленка единственная подгибается, да еще приходится, чтобы не завалиться на глазах у Машки, равновесие придерживать, опершись о дырну из орешины вырезанную.

Сажусь на пенек... Не промахнись, Петя, то есть Ленья, не то слетит сова и подохнет с голода подруга твоя фронтовая — Машка... Тяжесть в винтовочке, как в болванке стальной, дрожат руки, глаз слезится, взрывом пораженный, но стреляю в бешенстве от своего бессилия, мать его, маршал, разъети... Фу ты, Господи, падает в траву сова, даже крылья от неожиданности не успев растопырить...

Сова, конечно, не гусь и не курица. Тошно было ее ощипывать и потрошить, но пришлось и через это в жизни пройти... Всего я в ней, честно говоря ожидал, но чтоб ощипывать сову? И по пьянке в голову не влазила такая муть...

Костер сообразили. Чего уж жрать сырое совиное мясо порядочной собаке? Припалил я его как

следует... Жрет благодарно. Пошпикиваю, чтоб не давилась от безудержной жадности... И сам вдруг слюнки пускаю. Поделись, говорю, Машка, жизнь и во мне надо срочно поддержать. Подносит в зубах. Я и заплакал от жалкости нашей и полной невинности в происходящей с людьми и землей нашей подлости, а также от ярости на двух невысказанных вождей.

Вот, говорю, Машка, Сталин нам перед выборами говорил, что до коммунизма — рукой подать, что расцветут скоро в пупках наших сытых вечные фикусы, а мы не работать в основном будем, а петь, плясать, мечтать и помогать другим закабаленным народам всего мира, чтобы и им, как можно скорей, дойти до нашего чудесного состояния... Но что мы видим, вместо фикусов в пупках? Видим мы, что петь еще вроде бы можем, а плясать... на руках будем, дай только с фашистом сладить... Свинным мясом сонной ночной птицы обернулся нам с тобою, Машка, коммунизм рябой, отвратительной хари, приятного тебе аппетита, сестрица...

Зря, думаю, ты собачью порцию, Петя-Леня, отполовинил. Все одно подыхать тебе от гангрены антоновой. Генералы и то от нее подыхают как миленькие, а ты и подавно загнешься. Мог бы и в чистом виде помереть, странным на вкус мясом не оскверненный... Мало я верил в спасение, плоха больно культа моя была, очень плоха...

Но вот день один проходит, потом второй, третий, Машка сама время процедур чуяла, неделя проходит, позуживает приятно культа моя, выглядит гораздо приличней, жара нет во всем теле,

опухоль с колени спала, а еще дней через десять стал я ровно в детстве по-пацански корочки с раны заживающей отколупывать... Кость главное затянуло рваной моей кожей...

Машка, говорю, ты ведь не собака, а хирург первого класса, Бурденко четырехпалая, век тебя не забуду, жизнь тебе постараюсь, несмотря на тяжелое положение Родины и народа, справиться и письмо, пожалуй, накатаю Сулико — вонючей мандавошке, чтоб собак на фронте не под танки бросали, толку от этого все равно никакого нет, только Ворошилову тупому лишний орден Ленина навесят, а чтобы вас в медсестры пристроили на крайний гангренозный случай... Спасибо, дай поцелую тебя в бедный нос, псина... Залилась тут Машка откровенно радостным лаем, а я замурылкал, как всегда "синенький скромный платочек..."

Вы, маршал, не смущайтесь, что прерываюсь я иногда. Черти — Маркс и Ленин к бумаге рвутся, в считалочку играют: кому первому писать.

"Троцкий, Сталин и Гондон сели все в один вагон и поехали в Тифлис разводить там си-фи-лис. Раз, два, три это будешь ты..."

Сейчас Марксу повезло, а я пойду покурю, отдохну, время три часа ночи, тоска на душе мрачная, но и надежда ее не покидает, что установите вы в конце концов истину военного времени и дадите человеку побыть хоть немного самим собой... Завтра перейду к заключительной половине моего темного дела... поскольку выговорился и реже плачу от каменного невнимания к моим правдивейшим заявлениям. Не плачу, но и не пою. Сил нету петь. Допелся суслик...

1917-му КОМИНТЕРНУ

Не ирония ли это, товарищи, что я вынужден драться за каждый листок своей истории болезни, повторяющейся дважды: первый раз как трагедия, второй — как нелепый фарс? Только провонявшие насквозь жигулевским пивом и советскими сосисками бургеры не понимают причины перерождения в СССР святой коммунистической доктрины в окостенелую структуру праздного существования партийной, военной и жандармской элиты и охрану ее от недоумения народа. Если написание "Капитала" было трагедией, то перевод этого труда на русский язык, который я начал было успешно изучать, является несомненным фарсом. Если бы перевод назывался не "Капитал", а "Состояние", что соответствует психофизиологическому восприятию капитала вообще не быдловым, а аристократическим сознанием русского человека, то развитие пресловутого движения за освобождение рабочего класса России безусловно пошло бы другим путем. Чистые и романтические принципы молодого Маркса мерзкая личность герра Ульянова ухитрилась вывалять в кровавом дерьме настолько, что их реабилитация представляется мне при самых оптимистических прогнозах делом второго цикла человеческой истории... Состояние в себе, как таковое, безусловно первичнее капитала — для — нас. В чем глубочайший смысл польских событий? В гангрене власти, в дошедшем до очевидной ручки противоречии интересов власти посредственных тупиц и нравственных дегенератов с

интересами широких трудящихся масс. Тем более в последнее время рабочему классу стало ясно, что ни о каком превращении труда в капитал не может быть и речи, если объективированный труд не инъекцируется калорийными продуктами питания. Иными словами — для того, чтобы произвести прибавочную стоимость пролетарий должен есть мясо, масло, молоко и прочие продукты сельского хозяйства. Ничтожный недоучка, безграмотный философ и некультурный параноик Ленин просит Коминтерн признать вторичность продуктов питания в классовой борьбе с перенесением главного акцента внимания партии на вопросы идеологии. Нет. В организме человека базисом является господин Желудок и мадам Печень, а надстройками - идеология, инстинкты труда и осознанная необходимость искусства. Поэтому: пролетарии так называемых соцстран, соединяйтесь в поддержке общенародных интересов рабочего класса Польши. Господин У л ь я . . .

Лаврентий Эдмундович.

Не пора ли прекратить эту заразную игру в меньшевистские бирюльки с Молодым Марксом? Никаких послаблений. Ни в коем случае не гладить по головкам этих господ, не выдержавших испытания временем. Только бить, бить и бить. В этом залог нашей победы над легальным младо-марксизмом... И перестаньте вы, батенька, закупать у империалистов хлеб для нашего рабочего класса. Неужели вам неясно, что разрешение объективно кризисной ситуации внутри всего социалистического лагеря — не в ублажении желудков

разуверившихся в нашем деле двурушников, а в активном развитии хаотических моментов экономики Запада и Японии, а также в поддержке любого терроризма (курсив мой. В.Уле.) дестабилизирующего и без того разболтанную структуру катобщества, в импортировании наркотиков, во всяческом развитии оболванивающей пролетариев всех стран культуры, в провоцировании роста преступности и расовых конфликтов, эрго – расшатывании оснований прогнившего общества насилия и эксплуатации.

Нам необходимо перенять у поповщины практику перехода на постную пищу вплоть до аскезы перед революционными праздниками. Причем количество этих праздников необходимо диалектически увеличить вдвое и даже втрое. Постные дни, недели и месяцы существенно укрепят наши стратегические наступательные силы. Почему мы продолжаем отдавать народ – эту движущую силу истории – на откуп поповщине? Или всенародный пост спасет советскую власть, или недостаток мяса, масла и зерна ее погубит. Все на борьбу с аппетитом, который по словам великого Демокрита приходит необходимо во время еды. Прошу срочно переименовать "Правду". "На боевом посту" – лучшее название для данного истмомента.

Ох, батенька, не нравятся мне эти польские настроенница.

Поздравьте Хафеза Амина с приходом к власти после Тараки-какаки (смех мой. Влиуль.) Очень симпатичный афганец. Просто – глыба. Матерый человецище.

Правда ли, что Москва наводнена бандами ходоков, разбазаривающих продукты рабочего класса столицы? Всех — под трибунал. Чем меньше ходоков, тем меньше едоков. Неужели вы забыли простую арифметику классово́й борьбы, товарищи? А главное санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человеческому, по ленинскому, огромному лбу. Иногда хочется все бросить к чертовой матери и лечь на свое место. Но мы дотянем, мы дотянем до конца предистории человечества. Основное — наполнять наркотиками западный мир. Пусть пребывает под наркозом пока мы удаляем из человечества раковую опухоль частного предпринимательства — этого мощного тормоза на пути к коммунизму. Не забывайте, что до Него социализм это — учет недовольных и инакомыслящих с последующей изоляцией их от общества. Дайте наконец санкцию на ликвидацию Маркса. Ваш Ленул... Бросьте...

Беда, генсек, с этими твоими деятелями. Фридриха и Сулико — однодельцев ихних только здесь не хватает... Маркс до чего дошел? Пасту зубную из пяти тюбиков выжал, в кружке развел чайком и хлобыстнул, не крякнул даже.

— Кайф, — говорит, — очень сейчас хочется не переделывать мир, а объединять и тискать алко-голический манифест. Ну, а если уж переделывать мир, картавая сковородка, то не твоими грязными руками, а, по крайней мере, силами социал-

демократов и прочих партий народного благоденствия и защиты традиционной морали. Чего ты, как хорек, возненавидел весь мир, если у тебя братца ухлопали? За дело ведь повесили, а не просто за калмыцкий глаз, на царя ведь, сволочь, руку поднял, а не на какого-нибудь поганого инструкторишку райкома твоей дегенеративной, фантомальной партии... Об этом ли мечтали мы ночами с Фридрихом. Какое счастье, что он не дожид до такого невыносимого позорища. О, если бы можно было начать все сначала — пошли бы мы с ним вместе совсем другим путем. Где моя молодость?

Вот тут, маршал, начинается главная катавасия. Мы за животы с диссидентами и с Колумбом от смеха хватаемся, только Самосов сидит и как бы продукты людям отпускает. Мания величия у него застарелая: директором Елисеевского гастронома в Москве себя воображает. А я думаю так: если бы он на самом деле был директором, то и сидел бы в данный момент у себя в кабинете, а не на казенной коечке, как и я. Потому что, если б я был натурально Байкиным Леней, то я в земле сырой находился бы и надо мной огонь негасимый горел бы синим пламенем с розовым венчиком, и вдовы безутешные лили бы слезы по сгинувшим без вести мужикам, и матери старые престарые, выплакавшиеся до душевного доньшика, устилали бы мое каменное надгробие ромашками и колокольчиками... Ну, а Ленину, если верить, то когда бы выполняла партия все его мысли и мечты, то капитализма не было бы уже на

всей планете и люди сытые и свободные гладили бы друг друга по головкам, работая исключительно по желанию и беря в открытых распределителях все, что душе твоей коммунистической угодно вплоть до птичьего молока. А на каждом столбе висели бы чучела бывших банкиров, зав. корпорациями, монополиями, чучела Картера, Рейгена, Садата, Сахарова, Солженицына и прочих менее значительных врагов коммунизма, вроде перебежчиков балерунов и шахматистов. И лилась бы, не смолкая по ночам нечеловеческая музыка советских композиторов из громкоговорителей и с тех же столбов. Сам же он — Ленин — лежал бы на своем законном месте, где сейчас враги и перерожденцы незаконно распластали труп проходимца какого-то, скорей всего, по прикидкам Ленина, палача и сволочи гнусной Ежова Николай Иваныча, потому что пропал он в тридцать восьмом году бесследно и нигде, кроме как в мавзолее не мог по распоряжению Сталина расположиться...

И у Маркса молодого — одна и та же песенка. Капитал надо понимать как *состояние* и тогда не будет никакого в мире бардака и власти бескультурных динозавров вроде тебя и твоих дружков, маршал. Мне эти слова непонятны, ибо я не имел никогда ни капитала, ни состояния.

Одним словом: с обоими не соскучишься. Вот я пишу сейчас, а они сцепились вновь. Теперь Ленин в ответ вопиет:

— Ты приставал к Наденьке на пражской конференции! Дело о твоих пидарастских отношениях с Фридрихом было первым персональным

делом нашей партии, но его скрыли от пролетариев всех стран. Нонсенс... Ты — продался, подлец, социал-демократам за чечевичную похлебку... Ты ведешь из-под койки провокационные радиопередачи в предательскую Польшу, чтобы проклятые забастовщики — враги партии и власти — вспомнили про прибавочную стоимость и права пролетариев. Прибавочная стоимость, батенька, кончилась, с вашего позволения, в 1917 году, в октябре месяце по-старому и отныне вся до копейки идет на развертывание народно-освободительных движений во всем мире и дальнейшее насильственное расширение сфер нашего влияния. Я тебя теперь глушить буду и плевали мы — большевики на заключительные акты, мудро подписанные нами в марионеточной Финляндии... Ву-у-у-у-вы-ы-ы-ы-ввв-а-ав-ав-ав-ав.

А Маркс наш запрещенным приемом пользуется. Тихо так и вежливо заявляет:

— Нет, никогда мы, конечно, не придем к победе коммунистического труда. Жамэ, месье Ульяновкинд.

— Придем. Придем. Придем, — кулаченками Ленин по тумбочке забил и ножками засучил очень нервно. Жаль даже человека. Лицо у него в такие минуты становится больно несчастным и пацанским. А я думаю, что это за зараза такая в головах у того и у другого с поражением всех остальных первоначальностей души? Что это за напасть такая дьявольская, что из-за нее ни нам русским, ни полякам, ни евреям даже и афганцам житья нету вот уж седьмой десяток лет? На кой

хрен нам все это надо? Почему кормят нас насильно мерзопакостью этой, как диссидентов в голодовку, если мы уже из души выблевали и социализм и коммунизм, а желудки, животы наши такой тухлой требухой не прокормишь...

Опять драка. Маркс — тот посильней и помоложе. Пригибает голову, промеж колен зажимает ее и "селедок" с оттяжкой выдает Ильичу по жопе сохлой. Крик. Шум. Втупякин пьяный из процедурной приперся. Гной в бесстыжих и жестоких глазенках... В карцер обоих... Чудом меня со стыренной историей болезни не засекли. Думать страшно что тогда было бы... Страшно... А зачем шуметь из-за идейных разногласий? Не надо. У нас тут не то что на воле — думай в любом плане и в любом разрезе, но режима не нарушай. Раз есть такое право — не шуми, хотя это право выводят из нас разной нечистью в таблетках и шоками...

Вот — человек, сосед мой по койке, Степанов Ваня. Что ему Втупякин толкует? Пока, толкует, не поверишь, сволочь, что советские профсоюзы — школа коммунизма, а польские — махрового капитализма, не выйдешь отседова, сгниешь с потерей диссидентской своей личности и обретения новой — хорошей, любящей партию, правительство наше родное, КГБ и ВЦСПС. Такие мрази, как ты, Польшу от нашего лагеря отторгают пятый раз за всю историю этого блядского государства, норвящего укусить мать Россию в щедрую грудь, брюхо свое шопены и мицкевичи всякие выше социализма ставят... Понял, гад народа, медицинскую мою истину?..

Что же это такое, генсек? Все мы правды, только лишь правды добиваемся здесь. Я — чтоб самим собой перед смертью стать. Ленин, чтоб его заместо ежовского чучела в мавзолей, можно сказать, личный вернули. Карла желает от души Гегеля своего с головы на ноги опять поставить, потому что они тогда с Энгельсом погорячились и промазали слегка. Гегель-то, оказывается, на ногах стоял и перекантывывать его вовсе не следовало.

Или Степанов. Справедливо человек чешет, что нету у нас никакой диктатуры пролетариата, что раб он, загнанный до скотства за 60 лет, и, что все вы там в Кремле и на периферии в обкомах и райкомах — кучка сумасшедших туподрынов, изолгавшихся и заплесневевших в крепостях, охряняющих вас от народного взгляда. Разве ж не так, генсек?..

Или взять Гринштейна. Самолично книгу сочинил человек и в ней доказывает, что конституция наша — самая справедливая как бы в мире — нарушается на каждом шагу. Факты у него в руках, а не трепня. Он же и тычет вам вашей конституцией в носопыркалки и вежливо просит выполнять ее и ничего больше. Неправ он что ли? Человек сам книгу сочинил от большой души, болеющей за твою же советскую, по глупости, власть, а его — в дурдом, тогда, как вы сами наболтали всем давно известную историю про войну бригадушке шабашников продажных и премию за это отхалапли внаглую с золотым оружием. Думаете Ленин не раскрылся нам за сто грамм конфет "вперед" как оно дело было, как политбюровская шобла

целую неделю обрабатывала беспрецедентно своего скромного и простого Ильича, пока не дал он согласие на премию вам в сто тыщ? Вы ведь самого Сулико в этом деле за пояс заткнули. Тот уж на что охамел в сосиску, а премий сталинских себе не присваивал, воздерживался, стеснялся, видать, народа и Черчилля с Труменом.

Это у вас, генсек, мания величия и преследования, если вы Степановых, Гринштейнов и меня с Карлой в дурдом упрятали. Ну, Колумб — хрен с ним, спятил, действительно, человек, доказывает, что он Америку открыл, но сообщить об этом в Москву, в ЦК не мог, так как тогда не было еще телеграфа... И Ленин, на что идиотик, а прав, что если бы вы его захоронили, несчастного по-настоящему, на все века вперед, то не было бы в стране у нас никакого бардака в тяжелой промышленности и в сельском хозяйстве... Ну, ладно. С вами насчет этих дел болтать, что гороха нажраться — в брюхе бурчит, а правды нигде не добиться. Вот как...

В общем, захоронил я тогда Леню и ногу свою правую. Как плакал над ними — один Бог, небось, слышал... Салют, помню, дал из винтовочки, хотя внимание привлекал вражеское. Плевать на вас, думаю, нельзя хоронить солдата и друга без воинской почести... Прощайте, дорогие, вечная вам память, вечная вам слава за все хорошее, что сделали вы для меня лично и для Родины нашей, попавшей под два ярма — большевистское и фюреровское. Могилки вашей век не забуду, не быть

ей без цветочков, без яичка на Пасху и булочки белой в Родительский день. Клянуся...

Собаку, кстати, что жизнь мне спасла, а главное — вторую ногу, я тоже не забыл. При госпитале Машка кормилась. Променял я ради спасения живой твари верность супруге своей Нюшке, Настеньке, Анастасии променял. Врачиха одна пожалела из-за меня собаку.

Я ведь очень красивый мужик был. Очень. И неиспорченный, не то, что ты маршал, самолетных проводниц, Маркс рассказывал, невинности в тамбуре прямо лишаешь. А я красивый был и благородный. Охочий до баб, не калека ведь, но и не жадный. Так, на шашлык лишь бы, как говорят, посадить никогда не старался. Я все больше из жалости, да из уважения имел бабенок. О любви — что говорить?.. Была любовь и сплыла... Тут плачу... не могу... плачу... кружочками слезы свои опять обвожу... прости, маршал, на "ты" давай, ничего с собой поделать не могу, аминазин не помогает „, плачу... все загубил... славу Ленькину и свою заодно... Нюшкину, Настасью, Анастасии моей любовь... все... не успокоюсь, пока Гегеля, как говорится, на ноги не поставлю с головы нынешней... плачу...

Вот и охраняла из-за меня врачиха Машку и, разумеется, прикармливала. Раненые некоторые, калеки, до того обозлены были на весь белый свет, что костылямиогревали иногда ни с того, ни с сего бедную собаку и сестрам нервы выматывали.

Одним словом, вмазалась в меня врачиха. У самой, как говорится, одна нога была короче, другая деревянная была, но лицом — ангел. Натуральный ангел.

Вижу: личность мою возжелала весьма, но млеет лишь неуверенно, грубочкой чаще, чем надо, грудь мою прослушивает, контузией, говорит, шибануло ваш организм, Леонид. Массаж груди самолично совершает. Дышит с придыханием, волосы эдак вскидывает с форсом, вмазалась, одним словом.

Ну, поговорил с ней сначала о собаке, а потом в кабинете стали заператься в ночные врачихины дежурства. Я и сам ожил немного от войны адской, хоть из-за измены жене своей сердечно терзался.

Разрывается просто сердце от вины и тоски... Немца меж тем от Москвы отогнали еще дальше. Деревню нашу освободили. И вот тут первый раз схватил меня страх и сожаление, что изолгался я донельзя. Надо ведь Нюшку вызывать, пояснить ей все в открытую, она же поймет, что с моей фамилией дороги никуда нету, но только в тюрьму, что Сталин, как разделается со своим лучшим другом, так еще больше озверееет и за недосаженных примется, в чем я не ошибся, между прочим.

Пишу письмо в сельсовет свой хитроватое. Так, мол, и так, друг я Вдовушкина фронтовой, который Петр из вашего сельсовета. Потерялись мы в окружении, сам я ранен и теперь без одной ноги с контузией всего организма, имею кое-что передать жене его Анастасии, ответьте, жду...

А врачиха притормозила меня в госпитале, хотя я уже прилично оклемался, рыло разъел от гостинцев своей любовницы, ничего, думаю, война это, Нюшка, не обижайся, я может мужика таким образом для семьи нашей спасаю, чтоб не

зафитилить окончательно, так как дистрофиком из окружения вышел, случайный кусок хлеба, или картошку Машке — спасительнице отдавал, иначе околела бы она.

Жалею врачиху. Девушкой она до меня была, думала, что по хромоте и общей некрасивости фигуры так и не пройдет вовек в дамки. Но вот прошла же... Это я к тому, что надежды никогда терять не надо...

Любишь, спрашивает, меня, Ленечка милый?.. Как тебе, отвечаю, сказать? Скорей всего временно симпатизирую с уважением и фронтовой лаской. Плачет врачиха, но целует меня до потери дыхания, спасибо, говорит, за правду, Ленечка, спасибо и за то, что ты есть у меня на войне среди горя, крови, подлости, мужества и безумия... Все, поверь, счастье мое — в тебе и жизнь без тебя я вторую жизнь считать буду добавочной, умирать соберусь когда — за одного тебя спасибо Богу скажу, если он есть...

Естественно, попала врачиха моя. Доложила по глупости и честности начальству. Но и рада была до остервенения. Есть, шепчет мне, Бог, есть, если посреди исторической скверны, в костоломке и воплях растерзанной народной плоти, в слезах наших и бесконечной униженности зачинаем мы с тобою, Леня, новую жизнь... Леонида Леонидыча тебе рожу и ни словом не упрекну в вечной разлуке, радость моя случайная...

Ну, а Втупякин — начгоспиталя — аборт велит врачихе, имя я ее тоже позабыл от контуженной памяти, срочно и безоткладно делать любыми

средствами. Расстрелом грозит, гад... Она — ни в какую. Здесь, говорит, рожу, на рабочем месте и на все меня хватит, на войну и на дитя любимого человека. Война, говорит, не отменила жизни, а лишь изуродовала ее... как и советская власть...

Последние слова, правда, она исключительно мне говорила, в обнимку, в холодном, врачебном своем кабинете, любя меня, жеребца беспардонного, всею душою...

Давит Втупякин и на меня и на нее по-фашистски, с человеческим смыслом случая не желая считаться. Из себя выходит. Кишку у падлы защемило от того, что счастлива баба, а мужик у ней очень красив даже в безногом виде. Не Гитлер у него, у сволочи, враг теперь, а бабенка и раненый солдат, не служебные заботы насчет бинтов и ваты его одолевают, но ненависть какая-то глухая к тому, чо к жизни имеет касательство... Уймись, говорю, товарищ Втупякин, Сталину все известно насчет фронтовых подруг и не давал он приказа новое поколение людей в абортах ликвидировать. За аборты нынче из жопы ноги выдирают у тех кто на них подталкивает. Понял? И не будь вредителем материнства в нашей стране...

Отстал немного, на комиссии меня задержал, но спасала меня от них врачиха с анализами, хоть Втупякин до пены на зубах крысиных доказывал мое моральное разложение и что я здоров как бугай...

И вот тут-то телеграмма, что странно в военное время, приходит мне из сельсовета. Вот какая ужасная телеграмма:

**ОТВЕТ СООБЩАЕМ ВДОВУШКИН ПЕТР
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ СОГЛАСНО ПОХОРОН-
КИ ВДОВУШКИНА АНАСТАСИЯ ПОГИБЛА
ЭШЕЛОНЕ ПЕРЕВОЗКЕ СКОТА ГОРОД ПО-
БЕДА НАМИ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТ / ПОЛЯКОВА**

Читаю телеграмму и валяюсь на пол в корчах и истерике, бьюсь головою обо что попало, подохнуть желаю на месте и нету снова в глазах моих света, а в ушах звука — контузия вернулась... Связали... Лежу где-то в тишине и в темноте, не помер ли прикидываю. Очень уж похоже на смерть, как бабка Анфиса обрисовывала. А она раз пять за свою жизнь помиралась от всяких бед и болезней. Очень похоже на смерть: болит то ли тело, то ли душа, а кругом ничего не слышно и не видно... Потом руки врачихины почувал... Если б не они, может и загас бы я тогда от тягчайшего горя, словно свечечка на печальном сквозняке... От рук врачихиных, как вода в горло, жизнь в меня тогда возвращалась. Оживало все в нутре и снаружи... Но как руки-ноги обмороженные свербят невыносимо при отогреве, так и душа ныла от возвращаемой жизни. Невтерпеж...

Голос вернулся вновь, а в глазах забрезжило, звуки до ушей донеслись.

— Ковырни говорю, пока не поздно. Я от тебя не отстану, проблядь уродливая, — Втупякин это давить продолжал на мою врачиху.

— Аборта делать не буду. Хватит и без него смерти вокруг. Ясно? — это она ответила. Заскрежетал я зубами на Втупякина. Встать на его счастье не смог...

Подходит тут она ко мне и радуется, что не бессмысленный у меня вид... Вечером в кабинете спирту она из загашника достала, налила мне, пей, говорит, Леня, что ж теперь делать? Война, родимый...

Ударила мне пьянь в голову, зло взяло, показалось, что возрадовалась врачиха такому повороту судьбы с Нюшкиной гибелью и что я, следовательно, теперь в руки к ней перехожу со всеми потрохами. Куда ж мне деваться?

Ну, я и психанул, сорвал зло на невинном человеке, как это всегда бывает у оборотов вроде меня, сорвал... Много бы сейчас отдал, чтобы не было тогда хамства этого с моей стороны... Я что, подлец заявил, хоть и понимал, что сам тому не верю? Ты, говорю, не лыбься. Думаешь, теперь я твой на век, если вдовым остался? Выкуси вот и снова закуси. На чужом горюшке счастья не выстроишь, врачиха... А ты прости меня, Нюшка, Настасья, Анастасия, прости блуд прифронтной и бессердечную измену супруга своего — подлеца высшей меры, кобеля проклятого... Что ты, говорю, уставилась на меня, ровно давно не видала? И не гляди в мой адрес, яду мне налей, чтоб заснул я и во сне отдал концы, жить не хочу, кончилась сила жизни... Я тебя не люблю, а так встречаюсь в шутку...

Ни слова в упрек не сказала врачиха, но побелела лицом и отстранилась от меня душою. Почувствовал я тот холодок, спьяну отмахнулся от раздумий и еще стакан чистого врезал, родил именно в тот раз в себе алкоголика. Это — точно. И поплыл, повеселел, море — по колено, горя-беды не

видать, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...

Уснул в слезах и слюнях... Больше мы с ней никогда не спали. Она не желала, а я не настаивал. Не тем душа была занята, маршал, не то, что у тебя с телефонистками и шифровальщицами...

Что же делает тогда Втулякин? Поначалу меня, сатана суцая, выписывает и в колхоз направляет вместе с Машкой. Протез, говорит, почтой тебе пришлю, кобель. Протеза калеке не дал враг и палач народа дождаться. Чем он лучше Гитлера? Того хоть сожгли — и нет его. А ведь этого пакостника, эту мразь ничем не изведешь.

Простились с врачихой по-хорошему, писать, говорю, тебе буду. Не пиши, отвечает. У меня у одной на все сил хватит, а любить, слава Богу и тебе, есть кого. Только бы родить, Леня... прощай, не спивайся, спасибо тебе... прощай...

И тебе спасибо за меня и собаку... Такой у нас разговор был...

Документишко мне чистый выправили, жратвы на дорогу дали, врачаха четвертинку напоследок в карман сунула и направился я в один обком за направлением. Хотелось мне поближе к Лениной могилке. Для своей деревни я теперь умер, погиб как бы смертью храбрых. Решил новую жизнь начать, как говорится, с погоста... О ней немного погода, маршал.

Пишу из колхоза письмо дружку по палате. Ему все, кроме руки левой оторвало и мотню задело. Приезжай, пишу, плюнь на свою бабу, раз

она от тебя такого отказалась. Значит — сука она, так и так, и все равно скурвилась бы от тебя впоследствии, будь ты хоть с двумя парами рук и ног и с запасной женилкой. Приезжай, друг, баб тут у меня под рукою — тыща, найдем порядочную и неприхотливую, будь уверен. Тут такие имеются вдовы, что им лишь запах наш мужеский необходим, а на остальное начхать... И как там врачиха моя? И что с ней и с ребеночком в животе? Ответь, друг, я перед нею виноват душою... Пишу другу, а сам от общей сиротливости плачу как вот сейчас и кляксы все обвожу кружочками и обвожу...

Ответ вскоре приходит в треугольничке... Слушай, маршал, и сотрапезникам своим передай, может обомрут они от немислимого, от того, от чего сейчас гирями мне в затылок колотит и глаза затягивает гарью...

Вот что совершил Втупякин. Он бить стал врачиху мою в кабинете. Бил сапожищами по брюху, по животу живому палач плода человеческого, не жалея нисколючко.

Волосы у дружка моего аж дыбом стали — так слезно молила врачиха Втупякина остановиться и одуматься, неужели же нет в нем ничего душевного и сердечного, ведь звери даже не позволяют руку свою поднять на мать и дитя... Но где там?..

Я, — орет дьяволина, — двух своих выбил так вот точно из своей бабы, на случай развода, чтоб алиментов не платить, а твоего изведу непременно, потому что ко всему прочему, по науке, он безногий должен родиться... На фронте кадров не хватает врачебных, сука кривобокая, туда же

лезет с любовью, нам дети прямые нужны, я тебе покажу любовь, шалава грешная...

Все это дружок мой слышал и другие калеки тоже, да что ж они могли поделаться без рук, без ног и все лежащие?

Конечно, и выкинула врачаха моя тою же ночью... Беда... Седая вся враз сделалась. А может и с ума сошла. Долго ли, маршал, с ума сойти от такого зверства?

Подходит на другой день к Втупякину, обход был, и говорит:

- Фашизм на уничтожить на фронте и в тылу. Смерть фашизму. — "ТТ" твердо держит врачаха моя в ненавидящей и справедливой руке.

Втупякин в ножки ей брякается. Исключившись весь от плюгавого страха:

— Помилуй... еще десять родишь... что с того... ради фронта я исключительно... я тебе и сам всегда могу... не сумлевайся... не стреляй... под расстрел угодишь... жить что ли надоело?..

— Фашист ты советский, мразь на нашу голову и проклятье за грех братоубийства и бунта... Смерть тебе, падаль, — говорит врачаха моя. Всю обойму всадила во Втупякина, чтобы на пять пуль он поскулил и помучался, осознавая зверство собственное, чтобы от шестой подход под "Ура-а-а!" солдатское, а седьмую пулю в сердце себе выстрелила... Вот и все, маршал, по этому пункту... Слезы даже течь перестали. Вытекли они полностью. Но уж что, что, а слезы заново опять наберутся... и Ленин, как оглашенный, ручку рвет, мыслей поднабрал... не терпится ему выговориться...

СРЕДНЕ-ФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕТРАДИ

Считаю, что работа, проведенная нашими спецорганами, по расколу общественного мнения планеты близится к закономерному концу

Мы — неискоренимые диалектики. Наш прямой философский долг — поощрение всяческого расцвета либеральных движений вне страны, особенно в развитых до абсурда странах Общего рынка, и уничтожение, сиречь, сведение на нет последних внутри соцлага. Польша, Монголия, Никарагуа.

Господа либералы, а не мировой пролетариат, заевшийся на каптрачах, являются в данный истмомент повивальной бабкой мирового ХАОСА.

Они едва ли не единственная наша надежда в борьбе с активными силами сопротивления коммунизму, связывающая им (силам. прим. верно. ВУ) руки различной тепленькой чепуховиной и архирелигиозным отношением к политической морали. Какая, спрашивается, может быть мораль в том грязном аду, в котором мы вынуждены жить до его радикальной переделки?

Всячески поощряйте тех, кто по своей имманентной тупости оказывает сопротивление не нам — уму, чести и совести эпохи, а своим основным институтам и законным правительствам. А также тем индивидам, которые безошибочно чувствуют, чем чревато для них и их традиционных ценностей завоевание СССР (читай — КПСС. прим. мое. УЛВ.) мирового господства.

Поскольку дело это — исторически решенное, необходимо уже сейчас разработать ГОЭЛРО.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИБЕРАЛИЗМА РЕВОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Только младенец, связанный пуповиной с махизмом, не понимает, что после установления полнейшей, железной диктатуры партии над диктатурой пролетариата и прочей люмпен-шушерой, основным ее врагом диалектически становится тот самый господин-либерал, с чьей помощью мы деморализовали силы сопротивления хаосу и коммунизму сначала в России, затем во всем мире. В господине Либерале после перенесения исторических катаклизмов, кровавой бани и полного крушения всех слюнтяйских розовых иллюзий, к сожалению, просыпается чувство политической, нравственной и прочих реальностей, что необходимо мешает всей нашей благородной работе по освобождению человека от власти эксплуататоров и переделке грязного ада в светлое будущее.

Всемерно поощряйте западных либералов, особенно левого толка, к разваливанию гнилых структур их родных обществ.

Советская власть это – инвентаризация инакомыслящих и учет либералов с их последующим уничтожением, если не физически, то политически, и – никаких сентиментальных нюней и нюнешек.

Грудью вставайте на защиту партийности в литературе и в искусстве. Немедленно поставьте наших местных либералов в каторжные и даже в скотские условия существования под знаком кнута и пряника.

Нет в мире права выше права большевиков переставлять мир. Поэтому морите господ правозащитников как клопов.

Неужели, разделавшись беспощадно с десятками троцких, сотней бухариных и рыковых, а также с тысячей различных ициков феферов, партия и ее славные органы не в состоянии ФИЗИЧЕСКИ (курсив мой. Лувлич) обуздать одного физика – психопата из лагеря, разочаровавшихся в нас и сообразивших наконец, как мы ловко облапошили их, либералишек?

Он, очевидно забыл, что электрон практически неисчерпаем?

Вперед к МИРОВОМУ ХАОСУ. Предлагаю присвоить ему имя Маркса и Энгельса.

Какой мерзкой скотиной оказался Хафез Амин. Передайте мой пламенный привет Бабраку Кармалю. Это же – глыба. Матерый человечье.

Немедленно начинайте демонстрацию военной мощи на границах так называемой Польши. Как могло случиться, что пролетариат этой издревле русской провинции начал поднимать голову? Бить надо по ней серпом, товарищи, добивать молотом, а не садиться за стол переговоров с предателями интересов мирового пролетариата, стонущего под игом Фордов, Филлипсов, Круппов, Арманов Хамеров и прочих беспринципных выродков человечества.

Кстати, не мешало бы, не откладывая дела в долгий ящик, уже сейчас позаботиться о том, чтобы ликвидация господ либералов во Франции и Голландии, где они будут со временем представлять для нас весьма опасную, ввиду крушения

амбиций и вспышек мелкобуржуазных обид, СИЛУ, была поручена товарищам Вышинскому и Дзержинскому. Относительно приговоров у меня с ЦК не предвидится никаких разногласий.

Почему бы товарищу Буденному не подумать на досуге о использовании сексуальной революции в наших целях? Хватит отдавать ее на откуп монополиям. Порнография – не последнее оружие в борьбе народов за прогресс мирового хаоса. Что думает по этому поводу товарищ Пономарев? Он помнит, что мне регулярно недодают фосфора, сахара и делают все, чтобы я, потирая ручки, не засмеялся довольный?

Шав Нинел. 18 термидора 1980 года еще не нашей эры...

Мы тут, маршал, на днях подлечили немного Втупякина вместе с молодым Марксом. Потому что тот кончатательно вдруг оборзел. Когда въехал ты на танке в Афганистан, у Втупякина прямо праздник был на вонючей душонке. Ликовал. Прыгал от радости, сволочь. Еще, говорит, одних мазуриков к рукам прибрали. Скоро на глобусе места для нас не хватит. Всех к ногтю приберем, вылечим капстраны от шизофренической любви к наживе.

Палату нашу вдруг уплотнил, прохода не оставил. Руки потирает довольный. И так похваляется:

— Есть прогноз с верхов, что Сахарова нам сюда подкинут. Палки чтоб в колеса танкам нашим не вставлял в Афганистане и политбюро не дразнил инакомыслием. Собой, сволочь, подменить

пытается ум, честь и совесть нашей эпохи. Но я ему подменю. Я ему гипоталамус от мозжечка отсоединю вражеской морде... Я ему встану поперек дороги национально-освободительного движения... Я его манию величия быстро превращу в любовь к Родине и КПСС, забудет, что академик навек. Аппендикс совести народной и подлец из подлецов... Если застану кого за разговорчиками с негодяем от науки, то не жалуйтесь потом — я вас коллективно под шок отправлю и так потрясу, что зубы выпадать начнут...

Как тебе это, маршал хренов, нравится?

Решетку в соседней палате покрасил заново Втупякин и намордник на окно надел. Боялся, видать, что толпы народные демонстрацию устроят перед дурдомом... Завтра, говорит, привезут сюда в рубашке врага империи нашей, который водородной бомбы секрет продал китайцам за три пачки "цейлонского чаю". Прижгу я ему нейрончики, прижгу, чернила из авторучки пить станут... Я ему докажу лысой бестии, что шизофрения — заразное заболевание, передающееся через мысли на расстоянии... Как дважды два ясно мне это. Отсюда и первая стадия такого шизо — инакомыслие. Откуда ему еще браться? Неоткуда.

— Архигениально, — завопил Ильич. — Нобелевку тебе вручим, товарищ. Ленинку на сберкнижку положим. Матерый ты наш человечисце. А сам на шею внезапно кидается Втупякину и целует его в обе щеки, целует взасос, так что Втупякин только мычит от ужаса и к дверям пятится и вдруг как заревет на весь дурдом: "мы-ы-ы-ы-ы-rrr"

Санитары прибежали, оттащили Ильича, под дых как дали ему. Он и провалялся в отключке целые сутки, только постанывал:

— Зарезервируйте, товарищ Цюрюпа, мой продрацион до конца эссерского мятежа в Черемушках.

Ну, мы ждем, разумеется, когда привезут к нам честного гражданина Сахарова. Сигарет для него выделили. Молодой Маркс кусок колбасы "докторской" под кровать засунул. Плачет целый день и слова говорит, я тебе еще передам их, генсек — главный врач сумасшедшей нашей страны... Ждем.

Втупякин в костюме новеньком ходит и без халата, чтоб значек был виден "отличник госбезопасности" и ордена с медалями прочими. Ручки, повторяю, потирает довольный. Ленина привязать велел на три дня к коечке.

— Я тебе, стервец, покажу как лобызаться с медперсоналом клиники.

— Да здравствует советская психиатрия, — орет в ответ Ильич, — самая квазигуманнейшая в мире во главе с товарищем Втупякиным. Дружно подсыпем аминазина в продукты польским товарищам — этой змее на груди социализма... Ура-а-а...

А Маркс, вроде меня, все плачет и плачет, и Фридриха на свиданку зовет, Гегеля почему-то проклиняет и философию нищеты критикует.

Но тут узнаем мы, что ты, маршал, велел Сахарова в город Горький выпереть ровно в четыре часа. Втупякин аж почернел от злобы. Тебя самого лечить, говорит, надо от страха перед мировым

общественным мнением, от фобии, порожденной американскими сенаторами... Тебя-то он чехвостит почем зря, а всю злобу на нас несчастных срыгает. Зверствует просто. Чай приказал холодный выдавать и ноги по-йоговски за шею закладывать. Неслыханная зверюга. Очень он, гаденыш, надеялся на всемирную славу, если б Сахаров в в руки ему попал. Бахвалился нам, что через неделю алфавит академик забудет и имя вредной своей жены Елены, а тут ты его, маршал-писатель, здорово подкузьмил, в натуральную величину, можно сказать, уши заячьи замастырил паскуднику человекообразному.

Ворвался ни с того ни с сего в палату с санитарями, раскидал всех в разные стороны, веревками побил, сигареты растоптал, свиданку с женой запретил молодому Марксу.

Маркс и говорит мне:

— Слушай внимательно, движущая сила истории, я тебе сейчас идею подкину, она тобой овладеет и станет материальной силой, но не в смысле прибавки пенсии, а вот как. Я тут истолок аминазина и пертубанитромукодозалончика в порошок. Ты завтра подкинь его в пиво Втупякину. Только впритырку. Когда мы его маневром увлечем из кабинета. Понял?

— Не сомневайся, — говорю, — парень. Пора Втупякина с головы на ноги прекантовать, иммунизировать чудовище в ранней стадии.

Вызывает меня Втупякин на следующий день про родственников вспоминать и мои отношения со светилом-Луной. Поскольку выяснилось, что при ущербном месяце я как-то странно мочусь и

с задумчивым видом. И Втупякин приказал в полнолуние сосуд ко мне висячий на ночь привязывать.

В общем сижу у него толкую всякую чушь от скуки про луну, а он пишет и зубами скрежещет:

— Вы у меня, сволочи, попляшете от моей диссертации. По трупам пройду в член-корреспонденты, гады ползучие!

Вдруг слышу грохот, треск, звон стекла и громоподобный голос молодого Маркса:

— Я тебя, падаль картавая, на свалку истории кооптирую! Ради балеринки Кшесинской позорную заварушку устроил в Питере. Развратник! Скотоложец!... Ты лошадь отбил у Буденного!... Мразь брюменерская!..

Втупякин туда сразу помчался, ремень с себя на ходу снимая. Он очень любил им нас поколошматить. Только бы повод был и без повода, например, на выборы в верховный совет СССР.

Помчался он на шум, лиходея, а я ему в бутылку открытую-недопитую порошок кидаю и размешиваю до приличной пены. Пива Втупякин ужас сколько потреблял, а мочиться, что удивительно, никогда не мочился. В нем пиво в печени сразу в желчь превращалось и разливалось в мозгах. Поэтому он таким бешеным бывал.

— Немедленно сообщите товарищу Дзержинскому, чтобы он выделил отрядик для ареста карлика-маразматика, — визжит Ильич, и только слышно как порет его Втупякин ремнем. Вжик-вжик — по коже. Потом за Маркса взялся, а диссиденты орут:

— За каждую царапину отчитаешься, садист.

— Роза твоя всю мировую печать обойдет, свинья двурога.

За стекло, грозится Втупякин, выгнать денежки из капитала Марковского. Тот действительно хотел выкинуть Ильича на помойку. Хорошо, что не порезал вождя нашего. Попало обоим.

Приходит Втупякин в кабинет весь потный и пахнет от него нехорошо. Дожирает пиво из горла. За стол опять садится и сникает постепенно. Носом клюет, сигаретой меня угощает, чего никогда раньше не случалось, в общем, на глазах зверь в приблизительного человека воплощается.

— Иди, — говорит, — на сегодня хватит. Скажи там Марксу и Ленину, что погорячился я слегка. И чтоб порядок был во вверенном мне помещении. Не то всех цианистым калием выведу, как антинародную моль. Пошел вон...

Целых три дня спокойный ходил Втупякин, про Сахарова совсем позабыл. Палату нашу опять разуплотнил, но больше я ему химии в пиво не подсыпал. Маркс решил, что хорошего — понемножку... Вот какие дела, а Сахаров все равно поумней всего вашинского политбюро и скоро вместо Косыгина сядет. Тогда, может, и колбаски вдоволь пожеем...

Вот еще одного голубчика подбросили нам новенького. Койку в проходе поставили. Этот блаженный думает, что обезьяна он шимпанзоя.

— Неужто не видите, — говорит, — как я на ветке баобаба сижу, насекомых ищу? А сейчас банан лопаю. А-а-а-ак. Смотрите, макаки, самка моя чешет ко мне с водопоя. Врублю я ей сейчас в те нечке...

— С этим все ясно, — говорит диссидент Гринштейн, — у него ярко выраженный синдром политбюро: нервно принимает желаемое за действительное с последующей ненавистью к демистификаторам.

А "обезьяна" что делает? Онанизмом, маршал, на глазах у нас, с большим настроением занимается, нисколько не стесняясь даже Втупякина. Он лишь лыбится и подшучивает:

— Руку менять не забывай. С ветки, смотри, не сорвись.

А Ленин, который сам по этому делу хороший специалист, протестует:

— В дни, когда весь мир радостно ожидает суда над американскими заложниками, архипаскудно откатываться в нашу обезьянью предысторию. стыдно, товарищ Обезьяна, стыдно. Надо смирять реакционные желания.

— Помолчи, картавая сковородка, дай человеку кончить, — Маркс вмешивается.

— Карл Маркс украл у Клары цеткин кораллы, а Клара украла у Карла Маркса кларнет, — возражает ехидно Ильич.

— Нет, не придем мы к победе коммунистического труда, — говорит Карла.

— Придем. Придем. Вот и товарищ главврач подтвердит.

— Это не за горами. Придем. Таблетки только, гады, не сплевывайте. Шоками изведу. Имена свои забудете, — подтверждает Втупякин.

— М-да-а... Над нашим прахом прольются слезы благодарных людей, — возражает Маркс и Втупякин ярься грозит ему:

— У тебя в квартире на обыске сочинения молодого Маркса вчера нашли с пометками. Знаем теперь, где нахватался ты этих цитирований, симулянтская харя. Снимай свою личину, брось антисоветскую пропаганду, под маркой мании величия. Не пройдет этот номер. Не таких подонков раскалывал я здесь, двое Александров Македонских, четверо Маяковских, несчетное количество Микоянов и Молотовых прошло через мои руки и все фамилии, заметь, на букву "М", так что я и с Марксом как-нибудь разберусь. Сволочь. Симулянт.

— Убить меня мало, — назло ему сокрушается Карла, — разве можно было русский перевод "Капитала" не назвать "Состоянием"? Неужели советская медицина и психиатрия не исправит этой грубой политической ошибки? Господин Гельмгольц, вы представляете себе наши окрыляющие перспективы?

Диссиденты тут дружно хохочут, я тоже робко улыбаюсь, но в споры не влажу... Не до того. Помог в тот раз из горла у Маркса зубную щетку вытаскивать. Ленин туда ее засунул внезапно. Никто предупредить не успел.

— Я за чистоту наших рядов, — вопит Ленин. — В пасту томатную превратим молодого Маркса.

Подходит санитар — человек без лица, просто никак не удастся разглядеть физиономию у этой фигуры. Как так можно без лица?... Шприц всаживает Ленину в руку, следующий укол Марксу и тишина устанавливается.

Ужин хлипкий несут. Таблетки на ночь. Телик включают: программу "Время" смотреть, ума

набираться, международное положение понимать в нужном духе... Я же предпочитаю вздремнуть, чтобы встать посреди ночи и продолжать свои для тебя объяснения, маршал...

Понял ты наконец, что Втупякин с врачом моей сделал? Понял?...

А в колхоз я следующим образом попал. Заявляюсь в райком партии. Секретарем там, конечно, Втупякин был. Я и не удивился. Сам приучил себя к тому, что иначе быть не может до некоторых удобоваримых времен.

— Ну, что, раненый, скажешь? Небось на печи валяться задумал и на лаврах достигнутого почитать? Не выйдет. Председателем идешь в Заветы этого самого Ильича. Понял?... Ты не из самострелов, случайно? Есть у меня в районе и такие прохиндеи. Но не дождалась она гибели нашей. Все силы — для победы над врагом. Накормим фронт. Каждое зерно — государству. Каждое kilo мяса — Сталину. Победа будет за нами. Справим на нашей советской улице масленицу и на жидях напляшемся.

— Зачем, — спрашиваю, — на жидях плясать? Их ведь вроде Гитлер изводит зверски.

— Больше нашей партии плясать не на ком чисто исторически. На татарах и чеченах не напляшешься. Популярности у них в нашем народе мало. Лучше пуцай народ на жидях попляшет, чем на нас — на советской власти, которую он, чую я это ежедневно, ненавидит по вредной политической темени... Прислушивайся там к нему. На заметку бери. Ежеквартально должен ты, как председатель, под следствие отдавать одного человека.

— За что? — спрашиваю.

— За воровство. Саботаж. Укрывательство скота. Разговорчики. Ненависть к Сталину и нашей партии. Отказ бурный подписаться на заем и выдать наворованное в фонд победы над врагом.

— Вдруг, — говорю, — преступлений таких не окажется?

Засмеялся Втупякин.

— Так не бывает, чтобы их не оказалось.

— Всех пересажаем — работать кто будет?

— Освобождающихся скоро начну тебе присылать. Все до одного — враги народа.

— Значит, — говорю, — сажаем народ, а выпускаем врагов народа? Как так получается? Прибыли от этого никакой.

Задумался Втупякин. Даже слюни от натуги мозговой с губы свесились.

— Ты не контуженный случайно? — спрашивает.

— Немного, — говорю, — задело.

— Оно и видно. Тебя самого за сомнения провокационные брать можно... Поехали в "Заветы Ильича"... Почему в те места просишься?

— Воевал я там... Друга как раз возле Прохоровки захоронил...

— Фамилия друга?

— Вдовушкин Петр.

— Знакомое что-то... Поехали в "Заветы", чтоб они на хер были надеты. Одни паразиты собрались там на мою голову...

Приезжаем. Название, конечно, у колхоза, думаю, дерьмо. С таким далеко не уедешь... Собрание созывает Втупякин, видимость колхозной

демократии выставляет... Господи. В колхозе-то одни сплошные бабы, маршал. Бабы, да пацаны махонькие, от последней ночки, от мобилизации бабами рожденные. И старухи. Старики померли и в партизанах сгнули. От мужиков — ни слуху, ни духу. Без вести мужики все до одного пропали. В плену, небось, подумалось мне тогда... Беда... Народная, кровавая беда...

— Работать, — говорю, — бабы будем. Делать больше нечего. Возродиться надо. Родина голодает. Победим скоро...

Проголосовали за меня бабы. А работать, говорят, не на чем. Ты же, Втупякин, сам всех жеребцов на фронт приказал угнать. Буденный — дурак под танками угробил их без толку. Кобылы одни остались. Бесятся в течку. От меринов же ленивых жизни ждать не приходится. Трактор нам дай.

— Механизации вплоть до победы над врагом не ждите, бабы. Выписал я вам сюда в подмогу ешак из Ташкента, где жиды от крематория спасаются. В пути ешак по наряду Совнаркома СССР. Он вам тут понаделает жеребят. Ярый мужик, а не ешак. Всех огуляет. Кобыл только успевай подставлять, — говорит Втупякин... Посмеялись, за что люблю я лично свой народ, маршал.

Самогонкой нас бабы с Втупякиным напоили. Картошки с салом изжарили, вспомнил я горько и сладко, как Нюшка моя около печи гоношила всякую всячину, а я в озорстве похлопываю ее и поглаживаю... Вздыхаю от всего сердца, где, говорю, жить буду, бабоньки?

— Сегодня, — отвечает одна, — у меня заночуешь. Я — бригадирша. Завтра — у Плеханихи.

График любовный составлен, чтоб никому обидно не было. — Хихикают бабы похабно и весело.

— Как так, — говорю, — я не согласен. Что я вам — кобель гулевой что ли?... И не нанимался... Может я и не могу вовсе от контузии?

— Молчи, Байкин, — говорит Втупякин. — Выполний волю женской части народа. Не прикидывайся полом вышедшим из строя. Вон — ты ешак какой. Если б не партийная работа, сам остался бы тут. Все мои председатели вдов веселят, поскольку народу много на фронте полегло. Восстанавливать срочно его надо. Приказ Сталина. Воля — партии. За невыполнение — к стенке... саботаж... вредительство... гуд бай, дорогуша.

Бабы же прямо по производственному выступили. Жизнь, мол, наша пропадает... Детишков хотим... Головы без мужиков кружатся... Низ живота болит... Ужас что снится по ночам... Нервы... И Сталин, сказывали, гнушаться нами не велел до самой победы...

Чтоб, думаю, у этого Сталина по херу на пятке и на лбу выросло, пушай помучается, штиблет шевровый натягивая и фуражку маршальскую на башке пристраивая... Что мне теперь делать?

— Не кочевряжся, председатель. Был женат-то?

— Вдовый я... Погибла баба в бомбежку.

— Вот и помянем ее давай, а заодно и мужиков, которые грудью встали на защиту социалистического отечества — друга всех угнетенных народов и надежды всей земли. Все — для победы над врагом. Наливай, — говорит Втупякин...

Ну, выпили. Патефон бабенка одна завела. Танцевать повела. Топчемся, топчемся под "кукарачу" какую-то. Вальс кружим под "синенький скомный платочек", но какие танцы с калеккой? Одной рукой костыль прижимаю, другой — бабенку. Что делать, думаю?

А делать было нечего. Я мужик не железный, я — живой и к бабам жалостливый весьма, через что и потерпел в свой час... Заночевал у этой танцевальной бабенки.

Лежу с ней, а сам о Нюшке мечтаю... Прощай, жена... Будь ты жива — век бы не скурвился... А так... жизнь есть жизнь... И чья же это проклятая воля, что разметало всех нас по белу свету на гибель и муки, на унижение Земли нашей и напрасное расточительство молодости?... Прости меня, Нюшка на том свете... там с этим делом полегче, чем тут в колхозе, тут жизнь продолжать надо как-никак, прости...

Но разврата, маршал, не было там у нас никакого. Все строго, чинно, по графику и без смехуечков. В правлении график висел. Я ему и соответствовал два-три разочка в неделю и по праздникам большим типа первое мая и седьмое ноября, будь оно неладно... Порядок был определенный в этом деле. Банька, рюмочка-стопочка, разговор по душам, слезы бабьи, "синенький скромный платочек"... ну, идем, милая, не плачь, дура, возрадуемся раз живы мы, хоть и в беде по самые уши...

Но и имелась у меня бабенка особенная. Когда график ей приспел ночевать, она так заявляла:

— Жду я Трошу своего. Поэтому лишь переночуем вместе, поцелуемся, Леня, чтоб жить не страшно было, больно невоготу без ласки, а кроме этого — ни-ни, ничего у нас с тобою не будет, уважь, пожалуйста...

Я и уважал...

Живу в этом смысле, как царь персидский, или киноартист Николай Крючков какой-нибудь, вроде Лемешева.

Работаем с утра до ночи. Тыл кормим. Фронт кормим. Сами еле-еле концы с концами сводим.

Тут, действительно, по наряду Втулякина ешак из Ташкента к нам завезли. Ревучий зверь, упрямый. Намаялись мы с ним. То он кобылку не желает, то она его лягает обеими задними копытами и куснуть норовит. Откуда, думает, образина такая взялась на мою голову длиннouxая и нескладная?...

Ешак, конечно, по глупости природы мелковатого роста был животное. Пришлось мне мозгами пораскинуть слегка, рационализацию в жизнь провести. Трибуну как бы выстроили мы для ешака. Ну, а дальше он сам соображал что к чему. Тут большого ума не требуется. Жизнь везде свое возьмет... А мы с бабами подержались тогда за животики...

Жеребчики вскоре от семи кобыл появились у нас. Мулами приказал называть их Втулякин, мне медаль "За трудовые заслуги" самолично вручил на собрании, а через неделю чуть не посадил, сволочь. Дура одна из комсомолок надумала телеграмму послать Сталину, что посвящаем ему всем колхозом в фонд победы над Гитлером

тягловое животное новейшего типа — полуешак, полулошадь, желаем вам сто лет жизни, дорогой друг, отец и учитель...

Телеграмму, конечно, НКВД перехватило и — на стол Втупякину, а он меня дергает в райком и допрашивает:

— По чьей указке составлялась телеграмма? Что вы этим хотели сказать, мерзавцы? На кого намекаете? Забыли в какое время живете? Кому, как говорил Ленин, это выгодно? Забыли, что у нас капиталистическое окружение и бдительными надо быть даже в сортире на оправке? Вы здесь только жрете-пьете, а люди на фронте кровь за вас проливают.

Тут эта самая кровь в голову мне ударяет, замахиваюсь костью, прибил бы гада, но люстра на мое счастье помешала. Однако, притих Втупякин. Такие звери, как он, очень силу и бесстрашие уважают и с удивлением их порою рассматривают, вроде чуда.

— Ладно, инвалид, садись, водки выпей, закуси и проваливай посевную заканчивать. Как закончите — чтобы телеграфная писательница оформлена была как антисоветчица и что мечтала по заданию гестапо, куда была завербована в оккупации, испортить настроение товарищу Сталину в разгар контрнаступления на врага. Ясно?... И — не возражать. План НКВД — это план всего народа. Не то сам пойдешь туда, где девяносто девять плачут, а один пляшет. Выполняй. Донос чтоб через три дня был вот на этом столе. Скажи спасибо, что не посадили за покушение на мою личность в военное время. Понял?

— Ничего, — говорю, — не понял. Пусть НКВД людей сажает, а мое дело — хлеб сажать, да картошку. Не буду писать донесений никаких. Работать и так некому.

— Выполний, Байкин. Три дня даю сроку. Кругом — а-а-арш.

Созываю баб. Что делать, как говорил Ильич, спрашиваю, бабы? Как быть? Насадили нам в наказание начальничков безумных и осатанелых, что за зараза в них проникла? Неслыханные люди. И зачем ты, Пряжкина Лиза, на свою и на мою головы телеграмму эту проклятую начирикала? Пиши теперь всю правду, как есть, не то хуже будет. Раз пристало НКВД, то ни за что не отстанет, пока не посадит. Миллион, если не больше, таких краснолицых комсомолок уже томится в каталажках. Коммунистов же — видимо-невидимо. Телеграмму надо отцу с матерью посылать, а не начальству.

— Ладно... хорошо... я подумаю, — говорит Лиза Пряжкина, а сама лицом посерела вся и вообще осунулась... Втупякину дозваниваюсь.

— Осознала, — говорю, — отпусти ты ей грех неосознанности молодой, без нее пропадем, ешак никого больше не уважает и мулят-жеребят любит Лизка всей душой, в конюшне ночует.

— Выполний, Байкин. НКВД не может проставать без дела даже во время войны. Раз нету жидда для ареста и всякой белогвардейской сволочи, значит надо сажать своего человека. Он и в лагерях останется советским несмотря ни на что. Я в этом лично убедился, будучи в органах. Это говорит об объективной силе сталинского учения,

мать твою так, ты сам небось из недовольных? — орет в трубку Втупякин. Плюнул я в нее со зла. Ничего отвечать не стал. Без толку отвечать этим людям. Да и человеческого-то не осталось в них нисколько, новая какая-то порода, вроде наших полуешаков. Только полуешаки работать будут на людей и полюбят нас, надеюсь, а Втупякины лишь ревут, глаза кровью налиты, нету для них большего удовольствия, чем засадить невинного человека. От чужого горя, очевидно, понимание в них возникает, что сами они до таких верхов добрались, откуда безнаказанно можно творить беззаконие отвратительное, облизываясь, на людей за решетками глядячи. Подлецы из говна собачьего в князи попавшие. Господи, ответь: за какие грехи, чтобы легче хоть было немного, чтобы хоть покаяться было ясно за что. Неужели ж такого мы напакостили, что держишь Ты нас в неведении и контузии с потерей звука и света?...

— Живи, — говорю, — Лиза, спокойно, выкинь из головы сомнения, все пройдет. Корми ешачков своих...

Являются через пару недель двое энкэвэдэшников в португелях, сапоги надраены, ровно тут бал у нас, а не всенародное страдание, паразиты окаянные. Лизу арестовали. Обыск произвели в доме у нее и ночевать остались. Там же и ночевали, сытые хари. Выпивал я с ними. Взятку за Лизу обещал крупную — целого поросенка. Ладно, говорят, подумаем. Напились в драбадан. Я ушел. А утром бабы прибегают ко мне: Лиза удавилась. Если б не пистолеты — разорвали бы бабы псов и сожгли бы, как Дубровский в кино, псов этих

троекуровских там же в доме. Не знаю как дело было, но ночью слышали соседи, как кричала Лиза. Потом смолкла. Собака ее завывала, за ней другие и Машка моя туда же, исскулилась вся, спать не дала с похмелья, стерва... Ну, пришли бабы к Лизе. Смотрят: псарня валяется пьяная в блевотине своей, с жопами голыми, а Лиза в сенцах висит на красненьком шарфике. Изнасилована она, маршал, была... Ну, как? Кто им директивы давал так поступать? Ленин? Сталин? Берия? Микоян? Каганович?

Отбились кое-как от баб, сволочи. Еле ноги унесли, протокола даже составлять не стали о самоубийстве... Лизу же похоронили мы по-христиански, грех на душу взяли, потому что не сама себя порешила она, а изглумились над ней паршивые морды с асмодейскими лицами. Вот тебе и весь марксизм с ленинизмом. Лиза бедная, чего ты там в нем нашла хорошего, что пуще отца с матерью любила, тряпицами красными хари ихние на портретах разукрашивала, песню пела: "я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек..."

Помянули мы Лизу. Рассоветовал я бабам жалобу Сталину писать. Сам он такой, говорю, но вы этих слов не слышали, и выкормыши евонные так же зловредны, подловаты и низки душою. Жаловаться бесполезно, лучше выпьем давайте за победу и чтобы избавил нас Господь от всех паразитов и карателей. Может доживем до этого, если жить будем стараться, а не унывать... Помянули Лизу от души. В следующий раз, думаю, Втупякин-падла, я тебе устрою дело. Я тебя подведу,

сука, под монастырь с твоими опричниками. Сожгу своими руками и помучаю еще напоследок, чтобы ты признался бабам и мне, как планы вы тут по посадке народа русского выполняете, видимость службы создаете, чтоб на фронт вас тварей беспардонных не взяли из НКВД. Ради только этого и стараетесь ведь, гады ползучие. Человека посадите, дело пришьете ему и с мордами занафталиненными в тылу околачиваетесь, пакостничая и в разврате... Совершенно это мне теперь ясно, и знаю я что за блевотина за вашими красивыми словами... Конечно, устрашили вы нас до скотства, что ни пикнем мы, ни чирикнем, когда вы творите произвол и оскорбление, молчим, ровно тигры в цирке, но не можете вы не сгинуть с земли нашей в конце концов, доживу ли до этого — не знаю, но молюсь, чтобы, перед тем как сгинуть, не навредили вы ехидно людям последней пакостью, мором и голодом...

Такое было дело, маршал... Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребьятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов. Поназывали их бабы в честь мужиков, в память по ним, Васьками, Кольками, Федями, да Иванами. Благодаря моей хозяйственной жиле имели мы трех неучтенных коров для ребятни. Купил я их в городе у охранника за тридцать литров самогона... Выпили с ним, я и говорю, что все ж таки есть польза от социалистической собственности. Есть хоть что воровать, а то подошли бы с голода давно уже... Это — верно, говорит охранник. Десять лет охраняю. На фронт вот не взяли за такой стаж и опытность в охране...

Растут себе пацаны. Даже не ведают, что имеется на свете такая персона — папашка. Видят только мужика одноногого и прикидывают, что самый главный он здесь, раз палка у него вместо ноги выросла.

Мулы подросли тоже. В дело пошли. Работающая скотина, но печальная какая-то, какая-то нерусская, копытом не взбрыкнет с огоньком, оком лукавым не покосит, не поиграет под тобою, не всхрапнет боевито, не заржет родимый так, чтоб все твои поджилочки сладко замлели.

Тут войне конец подошел. Являются двое из плена. Без вести с самого сорок первого пропали. Приглядываются к колхозной нашей жизни. Пацанов моих прижитых начинают анализировать... Затем подкарауливают меня и принимают зверски мудохать за мое же милосердие и жалостливость души. В поле мудохали ночью. Что я на одной ноге сделаю с ними? Ничего. До смерти прибили бы. Бабы случайно спасли. Думал — помру. Зубы передние выбиты. Нос поломан в соисску. В глазах кровоизлияние и кровью харкаю. Ребра, чую, сломаны, и яйца, как говорится, всмятку. По ним метили. Сука, говорят, мы в аду кромешном были, а ты тут на печи бабье наше огуливал, хряк зажравшийся...

Спасли меня бабы. Но мужики добились бы меня как пить дать, извели бы вскорости. Однако явились вдруг те самые энкэвдэшники, которые Лизу изнасиловали, забрали бывших пленных, как предателей Родины по приказу Сталина. Жаловаться на них я не стал. Не лягавый я человек. Просто судьба такая.

Ну, а за могилкой Лениной, то есть как бы за моей, Петра Вдовушкина, глядел я исправно... Изгородь голубенькая. Столб кирпичный со звездою красной, потому что телеграмма пришла крест могильный ликвидировать ровно в двадцать четыре часа... Березка над могилою выросла. В скворечнике птицы живут. Улетают, прилетают, улетают, прилетают и поют. Ради могилки этой я ведь в здешний колхоз прибыл.

Зажили вскоре мои раны очередные. Тут Втупякин приезжает и говорит:

— Дорогие товарищи. Прах солдата Вдовушкина на пленуме обкома нашей партии постановлено считать прахом неизвестного солдата, с перенесением в городскую могилу, куда мы подведем вне плана вечный огонь. Мрамор также выдан для этого дела и немного бронзы отлить бумбетки. Большая вам оказана честь, товарищи, и вы уж ответьте на нее легендарным трудом со сдачей государству сверх плана зерна и мяса. Да здравствует родной и любимый товарищ Сталин—корифей всех стран и полководец прогрессивных народов дорбой воли. Мы смели с дороги к коммунизму фашистские преграды и теперь нам открыта туда вечно живым Ильичом зеленая улица. Ура-а-а.

Я — на колени перед Втупякиным. Как же так? Какой же прах неизвестный, если он вполне известен, как Вдовушкина Петра боевые останки. Это — фашизм какой-то делать известное неизвестным... Чуть про ногу свою не брякнул во гневе.

— Молчи, Байкин, не то посажу тебя за антисоветскую пропаганду и агитацию. Молчи. Не вставай партии нашей поперек дороги. Скажи спасибо, что мы этот не совсем наш прах по ветру не развеиваем. Отец-то Вдовушкина расстрелян был, докладывало мне МГБ. Но я лично настоял на захоронении в качестве неизвестного солдата. В какой еще капиталистической стране, где человек человеку — волк, могло произойти такое душевное событие? А здесь мы стройку начнем оздоровительного комплекса.

Ну, как тебе, генсек, твои коммунисты херовы? Что ты думаешь выстроил Втупякин на месте моей, то есть Лениной могилки, на месте поля боя и всенародной беды? Три дачи для обкома и для себя самого, разумеется. Вот что. Какие же вы все-таки все бессовестные оказались, до власти дорвавшись. А-я-яй, маршал. Для этого выходит мы руки-ноги теряем и головы?.. Но ладно. Живите, гуляйте. От ответа все равно не уйдете, если не на этом свете, то на том. Поскрежете зубами. Польши ничтожной по размерам вы перетрухнули, а уж какую кучу в галифе натрясете, когда наша рабочая скотинка взбрыкнется, думать весело. А взбрыкнется она точно в свой час. Не может у пуганных-перепуганных не лопнуть терпение. Недаром дурачок наш Ленин целый день сегодня морзянку в Кремль отстукивал:

Борьба с польским пролетариатом это — борьба за наши собственные шкуры, товарищи, за святость Учения и укрепления власти правящей партии. Срочно расстреляйте десятка три особенно

оголтелых профсоюзников, чтобы другим неповадно было противопоставлять свою мещанскую программу нам — уму, чести и совести нашей эпохи. Сегодня — Польша, завтра — Венгрия и Румыния, послезавтра — чехи и монголы, а через год-другой придется мне на Путиловский ехать уговаривать смутьянов вернуться к станкам и поточным линиям? Сегодня наш лозунг — партаппаратчики, все как один на борьбу с рабочим классом социалистических стран. В этом залог того, что мы с честью выйдем из нового, суровейшего исторического испытания, эрго: из периода предистории.

Вот что он на морзянке отстукивал. Но ладно...

Раскопали вроде Ленин прах с лишней моей ногой. Бабы еще перепугались, что там три сапога оказалось... Не могу об этом... Забился я в конуру свою, никого, кроме Машки не подпускаю и пью горькую. Машка же скулит, потому что одно дело гангрену у человека зализывать, а душу растерзанную зализать — совсем другое. Попробуй залижи ее, если я запечалился виноватый в Лениных пертурбациях из родной могилы куда-то под мрамор с вечным огнем.

В общем, как говорит Маркс, закономерно спился. Спился до чертиков, до говорящих и разноцветных снежинок каких-то, до рубахи, превратившейся на глазах моих в стюдень и слившейся с плеч. Пью и пою "синенький скромный платочек... ровно в четыре часа..." Прогнали меня в город, в больницу на излечение от алкоголизма.

Уж больно отвратителен был образ мой для моих же растущих пацанов. Плачет человек, пьет и людей к себе не допускает. Как не любили меня бабы, а прогнали в больницу.

Полежал. Завязал на время. Сторожом устроился. Не могу возвращаться туда, где надругательство над останками Лени — друга моего и моей левой ноги. Не могу — и все. Комнатушку дали мне сначала в общежитии, потом в коммуналку воткнули, когда ученого-еврея посадили и расстреляли за то, что на мухах колдовал и пытался привить овсам, картошке и пшенице нежелание произрастать на колхозных полях. Я, конечно, не дурак, понимаю, что невинного человека в расход Втупякин вывел, но в комнатушке поселился. Один живу. Баб не желаю видеть, не то что обласкивать. Обрыдли окончательно после моей самоотверженной деятельности в годы войны и разрухи. Допрыгался. Но, честно говоря, не переживал я, маршал, из-за этого дела. Спокойней даже как-то существовать стало. Это ты у нас — боевой ешак, грузинка, говорят, растирала тебе разные части волшебными пальцами и ты сразу стюардессу развратил в полете посреди облаков...

На могилку вполне известного мне солдата цветочки полевые летом таскаю, мрамор протираю тряпочкой, окурки убираю, бумбетки бронзовые на цепях мелом надраиваю, приглядываю, в общем, за могилкой.

Долго я свое сознание обрабатывал по части вины перед Леной и самим собою, что загубил я судьбу укрывшись за именем друга, долго. Но,

когда пришла пора — не удержать меня было и во многом тебе, маршал, за это солдтаское мое спасибо. Насмотрелся я, как ты объелся звездами золотыми, брильянтами маршальскими, драгоценным оружием и прочими холуйскими подарками своих дружков и понял: жить так больше, Петя дорогой, никак нельзя. Невозможно, более того жить в прежнем лживом облике, держащим в тени могилы многострадальное мое имя, данное мне матерью и отцом родным. Кончено, слава Богу, с этим безобразием. Пусть знает народ, что в могиле лежит известный солдат Леонид Ильич Байкин, скромно погибший за Родину без упреков кому бы то ни было и обид.

Пусть мочит дождь фанеру и смывает вода чернильный карандаш. Я снова буквы нарисую, пока не выдолблю на мраморе законно имя владельца роскошной могилы... Сейчас вот опять текут из глаз моих слезы чистой радости.

Легко, думаю, душу и судьбу загубить, но и спасти недолго, если ты бесстрашен перед прошлым временем, настоящим и будущим. О замогильном времени я уж не говорю. Оно поважней, кажется, прошедшего, и ты представь, маршал, в сей миг, как разоблачат некогда твои самонаграды, вранье позорное насчет твоих подвигов военных и то, что ты премию огреб за тиснутую шабашниками книженцию, как говорит опять же Ленин. Представь... Не знаю с каким настроением рабочим будешь ты сходить за порог известности и представлять перед неизвестностью, где нет ни маршалов, ни солдат, но только Истинный Свет и вечная бездна тьмы, в которой не сверкнут, не

не блеснут ни единой искоркой золотые твои побрякушки и камешки, как будто и не было их вовсе в природе с тобою вместе, выдуманньм из-за неимения у Втупякина иного выдающегося правителя для страны и народа... Но ладно...

Чего я не досказал тебе?... Сижу, значит, тогда, после водружения фанерки на могиле, синенький скромный платочек пою, чист душою, повинился перед миром, ханки еще хлобыстнул, соседи, слышу, на строительство коммунизма пробудились, рыла споласкивают, чай кипятят, у сортира толпятся, хреновину какую-то порят насчет Лейбманов, которые в Израиль намьпились. 12 человек семья, включая пробабку и прадеда.

Вот и шум идет: кому ихние две комнаты отойдут. Озверелые люди совсем из-за жилплощади, а открой ты им, генсек, границу — половина разбежалась бы враз. Конечно, потом запросились бы многие обратно, когда пропили бы имущество и обручальные кольца, потому что трудно русскому человеку после какой-никакой, но однако ж шестой части света, в Италии какой-нибудь замазку колупать и "рябину горькую" выть от тоски. Трудно. Обрато бы запросились, а ты бы их наверняка не пустил по партийной зловерности и чтобы они не смущали своих соседей рассказами насчет порядка жизни у капитализма и какую деньгу зашибает рабочий человек за свой честный труд, а также, что он может купить в магазине на заработанное, где живет и так далее, в общем то, чего по телику не услышишь и в газете не прочитаешь, благодаря военной тайне о жизни рабов капиталла... Шумят соседи. Дружно

претендуют на расширение жилья. Драчкой запахло. На это дело мы — мастера.

Только думал протезом их там шугануть, чтоб не зверели, может и не отпустят еще Лейбманов (умные и хорошие, потому что они для страны люди, особенно прадед Моисей, лучше него никто не починит дамскую туфельку), как в дверь мою барабанят. Зло взяло. Кайф ломают, гады. Беру протез, открываю дверь и первому же врезаю промеж рог с оттяжкой.

А это — Втупякин, участковый наш, вредное и мелкозлое животное. Хорек... Смешно стало. Извини, говорю, думал — сосед прется.

Тут меня рыл пять в штатском подхватили под белы руки и — в отделение... Вот тебя, маршал, слышал я от Ленина, ни разу не арестовывали. Ты сам всех в тридцать седьмом пересажал и на ихние места уселся со своей шатией-братией. Русский человек — не человек, если ни разочка за свою жизнь в КПЗ не побывал. Целина, так сказать...

Помял мне там кости Втупякин. Отыгрался сполна за то, что протезом промеж рог получил. Раны даже мелкие открылись у меня те, что после побоев остались. Вот как помял. Ровно ковер от пыли в выходной день выколачивал и половицу выбивал. С большим удовольствием. Кого же ты бьешь, подлец, спрашиваю. Инвалид-калека ведь в ногах твоих валяется. А он наступил прямо на мой рот ногой обутой и крутит подошву на губах...

Не могу... не могу... как тут не зарыдать от непрошедшей обиды. На боль — начхать. Обиды

бередят, покоя не дают...

Потом допрос был. А у меня с похмелья и побоев в зрении черт знает что творится. Штук пять Втупякиных в комнату набилось.

— Допился, свинья, — говорят — ...Над могилой неизвестного солдата глумишься, дерьмо собачье... От вечного огня сигарету прикуривал "приму", подлец, прохожий сознательный донес по телефону... Сгноим тебя в дурдоме, даже лагеря не увидишь, образина опустившаяся... Отрекайся от злодейского хулиганства, рванина пьяная... От кого задание получил? ЦРУ небось и жиды тебя спаивают, Родину нашу великую компрометировать? Солженицына читал?... В каких отношениях с евреями по квартире, урод? Когда завербован?... Что еще кроме листовок в протезе держал?... Вот что ты, мразь, стекловатой набитая, с протезом, щедро подаренным тебе страной, делаешь.

Отвечаю так. Я, мол, хоть пьяный и рваный, но нога моя тем не менее захоронена вместе с Леонидом Ильичом Байкиным. Листовку же я нашел на базаре и в ней вся правда говорится. Нехрена вонючую Кубу кормить на восемь миллионов в день и Африку завоевывать. Самим жрать нечего. Дети завистливыми рахитами растут. Листовка сознательная, а моя фамилия — Вдовушкин Петр, который считается неизвестным солдатом и захоронен под вечным огнем, неужели ж прикурить от него нельзя живому человеку, когда спичек нет? Мне бы лично на месте Лени было только приятно... Желая быть отныне известным справедливости ради и совести.

Ну, и опять все эти Втупякины топтать меня начали. А я на своем стою, всю правду выкладываю с самого начала войны. Если, говорю, не верите — выкопайте Ленский прах на экспертизу. Неужели сделать это для правды тяжелее, чем Сталина на глазах всего света выковыривать из мавзолея? Выкопайте. Там сразу и ногу мою увидите правую. Мизинец у нее вкось, на большом пальце ноготь сбит об корень сосновый, сапог 44 размера, Вдовушкин, эрго, я Петр. Не будет ноги в могиле — под расстрел готов идти без суда, но и тогда прав буду категорически...

— Отчество какое у Вдовушкина?

Ну, думаю, попался. Отчество вышибла из меня давно еще советская власть. Что делать? Загляните, говорю, в приговор смертельный моего отца и узнаете мое отчество, если оно вам очень интересно... А прах требую откопать осторожно ради уважения к нему.

Куда там?... Повязали меня и в дурдом воткнули. Хорошо, думаю, что Машка моя вовремя дуба врезала. Оказалась бы сейчас бездомной психичкой, гонимой гнусно соседями по коммуналке, а я бы и впрямь "поехал" бы от горя и бессилия помочь спасительнице своей верной...

Полгода первый раз держали. Током трясли. Химией кормили. Под гипноз бросали. Унижали всячески, как шизофреника и алкоголика. Пенсию два раза зажилили, а сказали, что выдали ее мне, а я накупил на все деньги одеколону "карменсита" и жрал его вместе с однопалатниками.

Выгнали наконец. Даже не помню, что я такого наделал и кто я такой вообще, как я жил до

этого дня, до праздника Победы, до девятого мая. Наощупь, так сказать, живу. Руки трясутся. В сортир ходить забываю, а из школы Втулякин запретил присылать ко мне тимуровцев порядок помогать наводить в конуре инвалиду отечественной войны. В зеркало гляжу — ничего в нем не вижу. Пустое место. Нету меня и — все. Отсутствую в природе и обществе. Стену вижу с голыми обоями, портвешком забрызганными, черный громкоговоритель на ней и ремешок Машки покойной, а себя не вижу. Помню, что это меня тогда вполне устраивало.

Успокаивало также. Есть я, как бы, но одновременно нету такого человека. Пальцем проведу по физиономии — нос, лоб, глаза на месте, уши топорчатся, борода не скоблена суток пять, стену потрогаю на ощупь — голая стена в зеркале без намек на мое изображение... Вот как лечат в советском дурдоме — самом нормальном дурдоме на свете, как пишется в тамошней стенгазетенке "За здоровье народа". Вот до чего доводят людей, желающих установить жестокую, трудную и раздражающую начальство правду, вот как заставляют по-фашистски вытравить из себя истинную личность до полной потери всех представлений о родимом теле и о многострадальной душе...

Но вот, девятого мая в день Победы наметилось во мне просветление. Это мой праздник и Ленский, всех, кто жив, отвоевав и тех, кто покоится в земле сырой.

Все же власти отнеслись ко мне, хоть безумным психом и числился, как к инвалиду. На митинг позвали, полкило колбасы отдельной

выдали, талон на масло сливочное и кило сви-
ны жирной с ананасом. Из Африки тот ананас
был. Завоевали мы его там. Спасибо, генсек,
большое за заботу об инвалиде и руководство
внешней политикой. Спасибо, кормилец.

Ковыляю на митинг. Протез об голову Втупя-
кина сломан. Но не танцевать же мне с дамочкой
в ресторане... "хоть я с вами совсем не знаком и
далеко отсюда мой дом"... люблю весьма этот
фронтной вальс. Костыляю, в общем, на митинг.

Стою перед вечным огнем, перед синим пла-
мечком и плохо соображаю, что это за мрамор,
что за огонь, что за высокая трибуна напротив и
какое ко всему остальному я имею отношение?
Не понимаю. Вот до чего химией набили уроды
человечества под маской бесплатной медицины,
проститутки поганые. И не при чем тут проститут-
ки. Любая "синяя птица" на вокзале в тыщу раз
душевней, благородней и милосердней Втупякина
и даже в долг может дать с заработка на бутыл-
ку...

В руках у людей плакаты: "НИКТО НЕ ЗА-
БЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО." Оглядываюсь во-
круг. Глазами ищу инвалидов. И совсем не вижу.
Ведь к тому времени, когда ты, генсек, спохва-
тился и постановление принял о кое-каких по-
блajках для нашего брата, перемерли мы все
почти к чортовой бабушке. Вы ведь думали так:
хрен с ними с калеками раз они без рук, без ног,
с контузиями глаз и ушей и так далее. С голоду
не подышают, не работают, у ворья вещи краде-
ные случается скупают, пьянствуют, граждан,

психопаты, колотят костылями чуть что и нечего развращать их добротой внимания. Пусть во дворах сидят и "козла" до отупения забивают, чем бесплатно в трамваях ездить и поездах, спекулируя кофточками и прочим жалким дефицитом. Санатории партийным товарищам нужны позарез, потому что на них страна наша великая держится, а не на инвалидах войны. Родина, мол, не пассажир в такси, который на чай дает за услуги. Жертвовать Родине всем до последней капли крови — священный долг каждого гражданина СССР. Именно так ответили мне в горисполкоме, когда я попросился в санаторий язву желудка залечивать. Но о внутренних болезнях я тут распространяться не желаю. Я лишь хочу заявить, что война так сказывается, особенно на инвалидах, так она перековывает все нервишки организма и нарушает течение последующей жизни то в одном его месте, то в другом, что врачи вообще ни хрена в нас не понимают и диагноз ставят исключительно следующий: пить надо, больной Байкин, меньше и закусывать при этом не забывать... А что закусывать? Чем, я вас спрашиваю, закусывать? Мышью что ли дохлой под прилавком в гастрономе? Или ухо у мясника — хари воровской оторвать? Поляки вон из-за мяса шуметь начали, а мы когда начнем? Когда на карточки хлебные пару недель веники березовые выдавать будут? Или когда опухнем от водянки как самовары?.. Не знаю. Убили у нас в шестьдесят лет в рабочем классе гордость и хозяйское чувство вместе со смелостью постоять за свои законные интересы и

свой ишачий, псам кубинским и воякам африканским под хвост вылетающий, труд... Но ладно...

В толпе народа различил я все же фронтовиков с бабами, сыновьями и внуками... И я мог вот так, думаю, стоять рядом с тою врачихой, если бы душевно к ней отнесся и не плюнул в душу бессердечным хамством. И детеныш наш уже отцом заделался бы, если бы, конечно, не спился с рабочим классом... Мелькнуло такое тоскливое сожаление...

На трибуну, разумеется, Втупякин влазит и говорит так:

— А теперь позвольте, дорогие товарищи, зачитать вам Указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный нашим дорогим и любимым Юрием Андропычем Прежневым, который лично возглавил в тяжелый для Родины час руководство главным участком фронта, что и решило исход мировой войны в нашу пользу, и люди перешли к мирному труду по возведению светлого здания коммунизма на территории нашего свободлюбивого государства — оплота интересов трудящихся всего мира и грозе сионизма-империализма лично...

Все, конечно, как всегда, хлопают ушами и пожевывают. Я — не исключение из этого правила. На кой, думаю, хрен сюда притащился? Сроду на митинги не являлся ввиду ихней тошниловки и заскорузлой жвачки. Дурак старый... В образах представляю от скукотищи как жвачку, которую еще Карла Маркс жевал на пару с Энгельсом, Ленину в рот перешла. Тот ее Троцкому в пасть

перекладывал, пока Сталин сам не принялся за разжевывание с запитием этой отвратительной жвачки нашей кровушкой и свободой... Втупякин жует ее, слюни заглатывать не успевает, засранец...

Но что это я вдруг слышу?

— Присвоить звание "Героя Советского Союза" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" посмертно рядовому Петру Семенычу Вдовушкину...

Тут у меня в мозгу что-то — щелк... щелк... щелк... и душа затрепыхалась, силясь добраться до вечной памяти, но химия ее не отпускала так легко, зараза. Втупякин же продолжает свою речугу:

— Никто таким образом не забыт, товарищи, поскольку русский солдат Петр Вдовушкин в тяжелейшей для нашей пехотной дивизии, в безнадёжной почти ситуации, в окружении врага... командир и комиссар были убиты в жестоком бою... мужественно и весело запел прекрасную песню "синенький скромный платочек падал с опущенных плеч", чем поднял на правый бой остатки седьмой стрелковой дивизии... прорвали окружение... спасли от неминуемой гибели артиллерию... в ночном бою познал захватчик всепроникающую до печенки мощь нашего справедливо-го штыка... негасимая ему слава... вечный огонь его храбрости и патриотизму, товарищи, поскольку многих из вас не было бы в противном случае на этом торжестве солдатской славы нашего оружия. Клянемся над могилой Неизвестного Солдата: никто не забыт. Ничто не забыто. Лично спасибо Родине за ее благородную память о своих героях.

Трещит от услышанного моя лбина, ровно в невидимую стену я уперся, а пробить ее не могу. Чую однако, что за тою стеною источник для меня существенный находится. Чую алкоголик, калека, душой и телом пропащий, добраться же не могу... Вот как мне мое возраждение давалось, маршал. Не то что тебе. Носился в "ЗИСЕ" по стройкам и горло драл:

— Вперед, братцы-ы-ы. Коммунизм-то ведь — не за горами. Неужто вам туда неохота? Вперед.

Напрягаю все силы своей личности, чтобы уяснить происходящее вокруг меня и отреагировать соответственно настроением на услышанное. Как в лесу чувствую себя... Громко, от страха что-то заплутал, аукаю, а в ответ не слышу ничего кроме слабого звука от своего же "ау-у-у".

Втупякин же остальных воинов называет, вспомянутых по воле какого-то бойкого начальничка по пропаганде в ЦК, потому что не жалость к калекам и уважение к мертвецам подвинули его на это, а жвачка потребовалась новая. Старая промеж зубов застряла... Кому орден, кому медаль посмертно объявляют. Живые тоже поднимаются на трибуну. Прикальывает им Втупякин награды, но не могу я никак издали узнать своих однополчан, которых я же поднял в атаку не по храбрости вовсе, а от отчаяния и боли по своей оторванной ноге и хлобыстнул трофейного коньячку. Митинг, как митинг, одним словом, и я уж облизнулся, подумав насчет отдельной колбаски, и как я, продав соседу талон на жирную свинину, по причине бывшей язвы желудка, сковыляю за

”маленькой”, картошки пожарю на масле, выпью и может спою чего-нибудь, да поплачу о сгубленной судьбе, о глупости своей и замечательном легкомыслии...

Как вдруг Втупякин, рожа у самого вечнопьяная, наглая, негасимое, одним словом, мурло, произносит:

— От имени нашей партии, Верховного Совета и лично товарища Юрия Андропыча Прежнева вручаю награду Вдовушкина Петра Семеновича супруге его, то есть жене Анастасии Ивановне, которая — гость нашего славного города.

Сперва я за грудь схватился, ровно поддых мне вдарило и согнуло, потом ковыляю к трибуне, все сторонятся, память во мне враз ожила до мелочей, приник к ней, ору, башку задрал:

— Нюшка-а-а! Нюшка-а-а! Петька я твой!

Сердце же мое разрывается от горя и счастья жизни и нога вроде правая отросла, верь, маршал, стою под трибуной и ору:

— Жив я, Нюшка. Жи-ив. Синенький скромный платочек... в двадцать четыре часа.

Нюшка моя уставилась на меня, сама в шляпе, на шляпе букет, лицом все так же хороша, сытая, развезло ее однако с годами, в буфете небось работает на мою удачу, шестимесячная не молодит только бабу.

Стою, воплю и костылем размахиваю. Нюшка тоже с трибуны свесилась, выглядывает меня. Тут Втупякин наклоняется и что-то толкует Нюшке. Рукой в мою сторону машет. Распространяется обо мне, очевидно, как о пропащем для планов партии, планов народа объекте.

На трибуну залезть не могу. Оцеплена трибуна цепью милиции, непонятно зачем. Не могли же они знать заранее, что мне необходимо будет на нее взобраться... Заминка в митинге вышла из-за меня. Оркестр по чьему-то приказу заиграл "синенький скромный платочек... Ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч".

— Нюшка-а, — ору, — родная ты моя жена, иди ко мне с высокой этой трибуны.

А Нюшка скривилась, пот со лба платочком утерла, плечом повела, как профурсетка городская, презрением и забвением меня изничтожая.

Тут Втупякин — участковый наш — зашипел мне в ухо и обидно плечо рукой костлявой стиснул:

— Опять, Байкин, за старое взялся? Иди за мной по-хорошему... не ломай церемонии, подонки общества... я тебя, гада, вышибу из города-героя в двадцать четыре часа, хулиганье безо всего святого...

Как я мог такое стерпеть? Не мог, ибо позабыл начисто в тот момент, что официально-то я — Байкин Леонид Ильич. Обида, тоска, гнев от несправедливости и косорылия Нюшкиного — все во мне враз взыграло и молотнул я Втупякина вновь костылем промеж рог. Он — с копыт. Дыра в — голове. Не стискивай, говорю, гадюка, плеча героя лягавою своей рукой, не стискивай ни-когда... Оркестр еще громче пилит любимую мою песню.

Последнее из всего, что видел — Нюшкина физиономия. Злая, ненавидящая, сплошное непонимание и смущенье... Коробочка красная с моею

звездой золотой у Нюшки в руках и не смотрит она в мою сторону, как-будто вообще нету меня на митинге и не был я никогда ее законным мужем...

Потом уж Втупякин — главврач объяснял мне, что орал я как бешеный и требовал ногу сейчас же выкопать из под вечного огня неизвестного солдата, который есть, якобы Байкин Леня — друг мой фронтовой. Сам я этого не помнил. Думается — оголоушил меня кто-то японским приемом, а может кровь сама к голове прилила. Было от чего прилпать...

Снова — дурдом, а я вроде рецидивиста в нем, с таким диагнозом, что произносить его противно. Нет в диагнозе ни грамма правды... Вспоминаю последнее видение с воли: волокут меня за руки и за ногу, кверху рылом, а надо мною флаги колышутся и портреты. Втупякин на каждом портрете с мордой отретушированной, ласковой как бы по отношению к народу, прямо отец родной, галстуки в горошек...

Первые дни сижу на койке, или ползаю по полу за неимением костыля об Втупякинский череп переломанный, другой заказывать не хотят мне назло, как хулигану... Ползаю, плачу, скулю-наскуливаю "синенький скромный платочек"...

Слева от меня на этот раз не изобретатель порошковой водки лежит, а сам Ленин. Справа же, вместо выдумщика машины для управления нашим сложным государством, Карлу Маркса положили молодого. Вполне душевный человек. Верись, спрашивает, что я есть Карл Маркс

молодой и что я оду радости мечтал пропеть всем людям, веришь?

Раз, отвечаю, ты веришь, что я — Вдовушкин Петр Семенович, герой Советского союза, то и я тебе всецело доверяю. Что такое, интересуюсь, ода?

— Песня такая прошлого века, вроде твоего синенького скромного платочка, — говорит Карла.

Все мы тут своего добиваемся. Как обход, так Ленин заявляет, что враги коммунизма специально засадили его лысину волосяным покровом, дабы неузнанным он оставался для партии и рабочего класса. И террор умоляет усилить в Италии, во Франции и в Израиле. Легче, мол, будет нам в мутной водичке рыбоньку всемирной диктатуры ловить.

Я то верю, что его враги загримировали, но террор всякий мне лично, как русскому человеку и бывшему крестьянину, кажется лишним. Лишнее это все, лишнее. Террор этот до такой заварухи и нас всех доведет, что думать страшно... Террор, мать его так...

Карла Маркса молодой наоборот просит разрешения у Втупякина отрастить усы и бороду в седом цвете, чтобы ни у кого уже не оставалось сомнений, что он это — он.

Пара диссидентов у нас имеется. Эти иногда требуют у Втупякина почитать Конституцию СССР от скуки и чтобышний раз убедиться, что она нарушается на каждом шагу и вообще служит дымовой завесой произволу, насилию и полувековой трепне, дорвавшихся до власти

хамов и болванов... Диссиденты никогда не плачут. Болтают. Записочки пишут. На волю ухитряются их передавать...

Ленин вот присел опять на пол, голый присел, халат на голову накинул, об табуретку оперся локтем, как о пенечек, это он в Разливе, в шалаше себя представляет, и пальцем по табуретке водит: тезисы свои тискает насчет террора и подавления польских забастовок. Вслух говорит, что один только шаг остался до установления всемирной диктатуры большевиков, а тогда, потирая ручки, он засмеется довольный и начнет гладить всех, кроме эксплуататоров, по головкам.

Маркс мешать ему начинает. Палец наслонявит и по стеклу водит с мерзким звуком или оду свою радостную поет. Потом обычно первый не выдерживает и орет:

— Шалашовка разливная. Прекрати тезисовать. Обдристал мои светлые мечты. "Состояние" скомпрометировал. Пролетариат в рабство партии отдал. Сифилитик. Недоучка. Блядь германская вагонная. От тебя у твоей Наденьки глаза на лоб полезли. Бес. Слуга дьявола. Все мы здесь из-за тебя сидим, пыхтим и правды добиваемся... Сковородка картавая.

Ленин зачастую внимания даже не обращает, не мешайте, мол, герр Маркс, международному рабочему движению, которое с 17 года ничегошеньки общего не имеет с вашими идеальчиками и расчетами, потому что допустили вы непростибельную для коммуниста ошибочку насчет обнищания пролетариата капиталистических стран. Но мы покончим с тенденцией пролетарского обуржуазивания. Мы уничтожим власть с по-

мощью максимального усиления власти в мировом масштабе. Мы вам покажем, что такое диалектика нового типа и как красть кораллы у Клары Цеткин, плевал я на ваш кларнет.

Маркс первый на Ленина всегда набрасывается, за ноги его с пола дергает и на голову ставит, так как силой обладает ужасной. Ленин и хрипит, извивается, пока мы с диссидентами Степановым и Гринштейном не пожалеем его и не отобьем от разъяренного Маркса. Зачем человека мучать, даже если в голове у него безумные планы, как в газете "Правда" и в твоих речухах, генсек. Ленин хоть трепется только, а вы натурально сошли с ума по прикидкам диссидентов, и если б вас, по ихним словам, положить сейчас в дурдом на справедливое обследование умственных способностей, жизненных целей, культурного уровня и моральных установок, то оказалось бы, что вас это надо держать в психушках, как бешеных собак и врагов спокойствия народов своих и чужих.

И непонятно всем нам, зачем держите вы в дурдоме своего Ильича, когда он прямо выбалтывает все, что вы сами думаете, а главное делаете? Вернули бы вы его обратно в мавзолей на свое законное место, а Ежова Николая Иваныча пошарить оттуда надо к чертям собачьим. И рассмотрите вы там, на своем очередном съезде партии вопрос о выкапывании моей правой ноги для установления личности Петра Вдовушкина, если, конечно, я вам как живой герой требуюсь, а не как истлевший... Но ладно...

Ползаю по полу и пою, скулю "синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, ты

говорила, что не забудешь тихих и ласковых встреч". Пою. Если б не пел, то умер бы точно. А Втупякин говорит так:

— Вот кончу про тебя докторскую и вышибу из твоих уст этот синенький скромный платочек, на котором зациклился ты препохабно. Забудешь не то что платочек, но и что такое синий в природе цвет.

— Не забуду все равно, — отвечаю.

— Забудешь. Если я из Сулова Карла Маркса почти вышиб, если я Ленина дал соцобязательство на ноги поставить к 26 съезду партии, а Гринштейна со Степановым образцовыми сделать гражданами, то и ты у меня, пьянь, по другому запоешь.

— Не запою вовек.

— Запоешь, гад такой, и текст забудешь. Запоешь.

— Не запою. Выкусишь.

— А я говорю — забудешь.

— Никто, — говорю твердо, — не забыт и ничто не забыто. — сам не выдерживаю и — в слезы, в надрывное рыдание. Втупякин же снова досажда-ет, как садист:

— Успокойся, не то под шок пойдешь. Не саботируй работу советской психиатрии, направленной на улучшение умственного здоровья народа и укрепление государства, где человек человеку друг и брат и где воплощены полностью мечтания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

— Ладно, — говорю, — прекращаю безудержный плач. Давай поговорим.

— В полнолуние охота тебе выкопать свою ногу или равнодушен ты к положению спутника Земли на небосклоне?

— Луна, — отвечаю, — тут не при чем. Мне нога нужна, как таковая, а доказательство. Ну что вам стоит выкопать ее? Час-полтора всего трудов. Судьба ведь в этом человеческая и не надо тогда мудохаться со мною в дурдоме, средства попусту изводить и душу мою терзать. Сталина-то, повторяю, выкопали ради правды, а я таких преступлений не совершал против народов, я наоборот — герой советского союза, верь Втулякин.

— Ну, хорошо, — смеется, — выкопаем мы ногу, сойдется все, что ты порешь тут, диссертация моя погорела, два года работы — псу под хвост, а дальше что?

— Дальше, — говорю, — Нюшка меня признает с великой радостью. Вспомним мы с ней превратности судьбы, выпьем, объяснимся и помру я от счастья жуткого, похоронит меня жена по-христиански вместе с правой ногой, и буду я с удовольствием лежать в своей собственной кровной известной могиле на Аржанковском кладбище. На могиле же неизвестного солдата напишут: **ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БАЙКИН. РЯДОВОЙ. ПОГИБ ИЗ-ЗА ПОДЛОЙ ГЛУПОСТИ СТАЛИНА И ЕГО КОМИССАРОВ.**

— Ну, а дальше-то что, — не унимается змей, — что потом будет?

— Потом, — говорю, — хочу поносить немного геройскую звезду на скромной пиджачишке. Билеты в кино и на хоккей без очереди и портвейн в рыгаловке брать буду. Билеты на хоккей в десять раз дороже с рук идут. Изпельменной, само собой, никто в шею теперь, при таком славном

обороте судьбы моей персоны, никто в шею не погонит. Известный инвалид, герой, одним словом, всего советского союза... Разумеется расскажу Нюшке за стопочкой эпопею свою с самого ранения и потери ноги, ничего не утаивая, до пробуждения стыда за притворство и отказ от собственной личности. Хотел, скажу, по глупости сделать, как лучше, а вышло, Нюшка дорогая, как нельзя хуже, но все — хорошо, что хорошо кончается.

— Так... С тобою у меня все ясно. Прогрессирует твоя болезнь, Байкин. Настоящее с будущим путаешь, переходишь из него в прошлое с уклоном в автонекрофилию. Зря ты так, Байкин, зря. Героя советского союза заслужить надо. Я думаю, что свихнулся ты из-за вины перед своей ногой скорее всего, потому что допускаю предположение о намеренном членовредительстве в период окружения с целью увиливания от защиты Родины и Советской власти. Ненависть к товарищу Сталину тоже сыграла большую роль в твоей лжи и дезертирстве. Будем бесплатно лечить тебя, используя весь арсенал советской психиатрии, самой человеколюбивой в мире науки побеждать заблуждения ума. Так-то вот, Байкин. Ну-ка, вытяни обе руки.

— Я — Вдовушкин, — заявляю непоколебимо, — герой, фронтовой известный певец и мировая умница без всякой мани величкиной и соньки преследкиной.

— Хорошо, — настырничает Втупякин, — больной Байкин утверждает, что он здоровый Вдовушкин. Давай сличим два фото. Идентификация

у нас такая хреновина называется. Гляди... Похожи?

— Вот это, — говорю, — похоже на психиатрию самую человеколюбивую в мире, не то, что раньше. Поглядим...

Гляжу... На одном снимке я как раз перед 22 июня ровно в четыре часа. Красавец. Чубчик кучерявый. Кепчонка — шестнадцать клинышков. В глазах — огонь негасимый сверкает. Улыбка — шесть-на девять. Плечо каждое — под пару коромысел. Шея — как труба у паровоза "ФД", только белая, недаром бабы млели, вешаясь на нее.

— Ну, что? Разве не разные здесь два человека? — вежливо так и вкрадчиво спрашивает Втупякин.

— Да, — соглашаюсь честно, — не похожи два эти человека. На второе фото смотреть рядом с первым страшно просто-таки... но...

— Вот мы и лечимся. — обрадовался Втупякин. — Вот и хорошо, Байкин. Думаешь, с гражданкой Вдовушкиной не идентифицировали мы тебя?... Вот — ее заявление. Читай... Впрочем, глаза твои слезятся, и я сам зачитаю. Вернее, изложу своими словами... Так, мол, и так, хотела бы признать в этом прохиндее Петра своего, но не могу сделать такового ложного показания, хотя исстрадалась в розысках и в смерть мужа не верю... прошу запросить американские и немецкие ЗАГСы на предмет проживания его в тех странах после пленения и пропажи без вести... И так далее. Пояснила Вдовушкина, что ее законный муж пьяни в рот

сроду не брал, ростом был выше, глаза, уши, губы — рядом с твоими не лежали и что лечить таких надо беспощадно, так как жалко смотреть на спивающийся народ, калечащий жизнь жен и детишек...

Тут я на полу в рыданиях забился и пою, хриплю от всей души: "ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч... по-о-орой ноч-но-о-ой мы расставались с тобой..."

Колотит меня, разрывает от чувств, а Втулякин с важным видом что-то пишет себе и пишет, на меня внимания никакого не обращает.

Как же, плачу, узнать тут нас и сравнить? Уши мои морозом жизни прибило, как псине шелудивой, бездомной, пообтер я их на сырой земле и на нарах падлочих каталажек... Глаза мои, пара синих глаз, васильки полевые, выщвели ко всем чертям, нагледевшись на войну и мир настоящего, вымыты одинокой слезой и оловянной водярой глаза мои, братцы... Чубчик ты мой ржаной, не забыл я тебя, развевался ты, чубчик, надо лбом высоким и упрямым, всегда был на ветру, ныне же череп мой желт и гол, как горка ледяная, обоссанная невинной пацанвой и жестоким народом... Перебиты, поломаны ноздри, прости ты меня, нос мой расчудесный, что опух ты, засиренивел, заплюгавел, прости... Как же узнать мне щеки мои, Ньюшка, когда морщин на них поболее, чем извилин в ленинской голове... А брови? Где вы, мои брови? Нету вас над глазами вообще,

не генсек ли изловил их как птиц и распростер над зенками своими?... Батюшки, губы мои розовые, жадные, добрые, веселые губы, до чего же я вас обтрепал об края кружек окаянных, стаканов стеклянных, горлышков зеленых, батюшки, до чего я вас изгунявил, истрескал, злодей, в кровь разбил... Но я это, Нюшка, плачу я, разве может одна душа в такой миг выдать себя за другую, душа — не фамилия, ее не поменяешь, ты же не забыла меня, Нюшка, Настенька, Анастасия, двадцать второго июня ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...

С другой стороны, маршал, нет мне прощенья, должен я быть забыт и явление мое в мир тоже быть забытым должно. Я не умница мировая, а натуральный подлец и кобель окаянный. Нюшка не узнала меня? Правильно. Справедливо. Сам виноват. Нечего было советской власти бздеть. Следовало до смертного часа оставаться Вдовушкиным Петром — сыном кронштадского врага троцкой сволочи. Все было бы мне воздано за долготерпение, муку души, оторванную ногу, нечеловеческие пертубации — все...

Леня, друг ты мой фронтовой, что же я наделал? Как теперь кашу эту расхлебать успеть до смерти? Хрен с нею, с геройской звездой, может, останься я самим собой, а не тобой, то и Нюшку искал бы пока не нашел, не успокоился бы, и она обнаружила бы меня непременно, без страха явился бы я в деревню родную, и все стало бы на

свое место, Леня. Да и теперь, хоть детишков рожать нам с нею поздно, но и так пожили бы годочков десять, прижамшись к друг дружке на широкой, на взбитой, на чистой постельке. Днем же пошли бы пенсию мою получать и — в пельменную.

Варька, а ну-ка, стаканов пару. Герой советского союза с законной женою страстно желает двести грамм хлобыстнуть под пельмень с горчицей, под пельмень с маслицем, под пельмень с уксусом, костыль — под стол, палку — по боку, садись, Нюшка, за все заплачено, никто не забудь, ничто не забыто...

Кстати, маршал, где пельмени? Куда девались наши пельмени из пельменной №8 "Романтики"? Где пельмени? В Афганистане? На Кубе? В Африке? В космосе? В чем дело, маршал? Где они?... Пустыня в пельменной нашей. Как с Христом конвоиры, вы с народом нашим в жизни поступили — один лишь уксус в пельменной оставили. Макайте, мол, в него, запекшиеся от крови и обид губы. Все равно, скоты, в международном положении ничего не смыслите и не понимаете исторических задач партии — ума, чести и совести нашей эпохи... Может в Польше сибирские наши пельмени? Нет. Не бастовал бы рабочий класс при наличии от пуза сибирских пельменей в Гданьске, на верфи имени Ленина. До чего же вы, генсеки, маршалы и Втупякин довели русский народ, если он пельменей запах забыл, но не проявляет благородного недовольства и не то что не бастует, а

плетется как миленький на обрыдливые митинги, на фармазонские выборы и мошеннические трудовые вахты. Это же — сплошной депрессивный психоз. Шизофрения массовая. Бред страха. Мания возвеличивания паразитов. Анемия. Амнезия. Мания дальнего следования.

Это я нахватался по медицине от Втупякина и диссидентов... Вот Ленин опять бумагу рвет из рук... Ручки шариковые где, думаешь, берем? Нянечки их нам за деньги приносят. А деньги мы где и откуда в дурдоме достаем? Воруем, маршал, потихонечку. Через окошко на веревке простынки вольным, нормальным гражданам спускаем, стулья иногда, аминазин скопленный передаем ленинский. Он прикинул, что недовольных молодых людей много развелось и поэтому надо оглушать их наркотиками любого вида от хоккея до аминазина включительно... Вчера фикус продали какой-то бабке за два флакона одеколона. День рождения жены Марксовой отгуляли. Портрет твой с орденом Победы, который ты нагло нацепил на себя не будучи Рокоссовским или Жуковым, тоже мы с удовольствием пропили. Деньги, конечно, не за твою физиономию были получены, а за раму золоченую с финтифлюшками и бамбетками разными... Краску масляную подтырили, когда ремонт шел. Хватились ее маляры, а мы говорим с Марксом, что вылили ее в сортир, чтобы не излучала вредных для мозгов запахов. Чего с нас возьмешь?.. Портрета же твоего до сих пор не

хватились, вроде бы и не было его на стене вовсе... Ну, а уж лампочки мы, где только можно было повывертывали. На воле-то они вдруг пропали из-за того, что вы там в ЦК экономию решили навести за счет потери народом вечернего освещения. Придет утром Втупякин, спросит — где лампочка сортирная, сволочи? Ленин говорит, что лампочка не сортирная, а Ильича, и он делает с ней, когда она перегорит что заблагорассудится. Новые вворачивают лампочки, а нам того и надо. Раз идет воровство на всех участках строительства коммунизма, то и мы не в стороне, как говорится, от народа и руководящих работников.

*Докладная записка комиссии
партконтроля №234/59*

Необходимо выжать Хомейни — этого махрового мракобеса и ярого врага коммунизма, вознесшегося на вершину власти на гребне религиозного фанатизма, как губку. Смерти подобно игнорирование Ирана, как решающего очага мирового ХАОСА. Вчера было рано, завтра будет поздно. Выход к берегам Персидского залива, с экспроприацией нефтяных богатств у архиразвратнейших шейхов и их наложниц позволит нам наконец взять империализм за горло без риска ядерной конфронтации с США. Мы — коммунисты — просто исторически обязаны закончить глобальнейшую драчку за нефть задолго до перехода человечества на новые виды энергии.

Заигрывайте, где только можно, не стесняясь НИКАКИХ СРЕДСТВ (курсив мой. Ульич.) с невеждами, и хапугами муллами. Сыграв свою

историческую роль в интересах мирового коммунизма, они будут убраны нами без лишнего шума со сцены истории и выброшены на свалку вместе с их идейными братьями — попами, равинами, брахманами и римскими папами.

Передайте привет Кастро-Кадаффи. Это — глыба. Матерый человечще.

Срочно переведите молодого Карла Маркса в другую палату и спросите у Андрона Феликсовича кто такая Кшесинская? Не она ли сбежала на поганый Запад вместе с группой работников нашего партийного балета?

Что там слышно с внешней торговлей — этой веревкой, которую мы затянем на горле картелей и трестов? Уберите Каркса, убе...

Опять, маршал, дерутся вожди наши. Ведь Ленин больно часто сигареты из карманов у нас ворует и по гумбочкам роется. Побьют его, а он вопит, что Дзержинский ордер ему выдал бессрочный на обыски и убийства политических провокаторов. Вот Маркс и говорит давеча:

— Если так, то ликвидируйте, герр Ильич, сексота палатного. Никакая он не обезьяна, а стукач Втупякинский, лезущий в мозг без мыла и пытающийся разнюхать, где спрятан мой капитал. Типичная наседка. Уважаемые господа диссиденты первыми заметили его обезьяньи нюхательные телодвижения. Полотенце ему в рот и — вся готтская программа.

Обезьяна — на колени перед Марксом, клянется, что не сексотит, хотя Втупякин предлагал ему за такие услуги карточки развратные с голыми

бабами, чтобы он онанизмом своим неизлечимым занимался, как интеллигентный человек... Не убивайте, товарищи, я до вас желаю доразвиться и быть отпущенным на поруки матушки.

Пощадил его Маркс, от Ленина отбил и велел в другую палату проситься, не то заткнем глотку полотенцем мокрым и скажем, что сожрать его хотел для порчи казенного имущества... Как ветром сексота сдуло после обхода...

И вот — новый курс лечения выдумал для меня Втупякин, поскольку не желаю я отказываться от истинного имени... Уколы колет, в горло таблетки силком запикивает, шоками трясет неимоверной силы. Но я, мало того, что терплю, я таблетки выблевывать наловчился. Проглочу, водой запью, а сам в сортир иду, мыла разведу попенистой, хлорки в него добавлю для отвращения пущего и ем, давлюсь ужасно, пока не вывернет меня с таблетками вместе. Уже легче. Личность сохраняю в труднейших условиях ее сопротивления советской человеколюбивой психиатрии.

Если бы диссиденты послушали меня, то и они бы выдержали химическое надругательство над собою. А они говорят: ничего, в дурь немного побросает, а потом с мочой вон выйдет. И вот что получилось.

Приводит нас троих Втупякин в зал, похожий на танцевальный, с трибунами как в цирке. На трибунах молодые люди сидят попеременно с пожилыми. Кто в форме с синими габэшными кантами, кто в теннисках и пиджачках. Зашумели смешливо, когда нас ввели с Марксом, Лениным,

Гринштейном и Степановым. Рожи у всех такие непотребные, как-будто они родтсвенники Втупякина близкие. Весьма сходственные типчики. Блокнотами зашелестели, сволочи паскудные.

А сегодня, дорогие товарищи повышенцы квалификации, произведем наблюдение за двумя группами больных. Одна из них, говорит Втупякин, откормлена нами ... хреноколеносоплягопердоширозинокомрадом... прости, маршал, за два дня это слово не выговоришь... вторая же группа пребывает в спонтанно-хроническом течении параноидального синдрома с манией величия и бредом преследования. Вы можете задать вопрос как больному, считающему себя Марксом в молодости и пытающемуся прикинуться невменяемым с целью ухода от суда за хищения в особоопасных размерах, так и больному Худилину, выдающему себя за настоящего Владимира Ильича вот уже много лет после 20 съезда нашей партии. В прошлом преподаватель марксизма-ленинизма в училище акушерства и гинекологии имени Крупской. Затем перейдем на группу, подвергнувшуюся воздействиям эффективных медикаментозов... Прошу...

Ленин, конечно, ручку вперед выбрасывает и вопит: есть такая партия. Втупякин на место его отталкивает и говорит, чтоб не лез без очереди. Смех в зале. Хамло ведь на представление сюда собралось со всего СССР, чтоб опыта поднабраться в борьбе с теми, кто не желает по-скотски закрывать глаза на вранье партийной казнокрадии и антинародных авантюристов. Смех.

— Как к симулирующему Маркса обращаться? — спрашивает один идиот.

— Скажите, "больной"... и так далее. Фамилий Маркса и Ленина вслух не произносить, — поясняет Втупякин.

— Скажите, больной, — спрашивает из первого ряда баран какой-то, — помните ли вы свое детское младенчество в городе Симбирске?

Ну, Ленина хлебом не корми, но дай обратиться к народу. На стул хотел забраться под хохоток повышенцев. Втупякин с Марксом удержали.

— Тут тебе — не броневик, — говорит Втупякин. — Режим не нарушай.

Тогда Ленин закладывает ручки под бока, пальчиками барабанит по ребрам, головку наклоняет ровно воробей, глазки прищуривает и картавит:

— В школе, сиречь, в гимназии, батенька, я никому не давал списывать задания. Никому... А когда братик мой Митя оказывался под диваном, я весело кричал ему: шагом марш из-под дивана и, потирая ручки, смеялся довольный. Если у меня разыгрывался люис, я оставался дома, читал "диалектику природы" и "вопросы ленинизма", а также смотрел в окошко на грязный ад, называемый жизнью... Вот Саша вышел из дому. И пошел другим путем куда-то...

Повышенцы носы и рты зажимают от смеха, ну, хватит, шипит Втупякин, а Ленин срывается:

— Товарищи члены "красных бригад". Вы — дрожжи мирового хаоса. Не поддавайтесь на провокации буржуазного гуманизма, апшелирующего

к пережиткам ваших чувств. Сочетайте террор против слуг империализма с практикой задержания политических и прочих заложников и шантажом всех полицейских институтов беременной гражданской войной Италии. Ваше мужество принесет плоды всем находящимся в рабстве у империализма. Превратим грязный ад в светлый дворец мирового коммунизма. Вперед, товарищи.

— Хватит, — рявкнул Втулякин, — заткнись, — говорят. Теперь другой маньяк ответит на ваши вопросы, товарищи. Давайте без смеха. Мы не в театре.

— Позвольте пару слов в порядке ведения собрания? — не успокаивается Ильич.

— Заткнись, говорят, не то в карцер пойдешь отсюда.

Присмирел Ленин, на пол сел, вид делает как на картине, которая в приемном покое висит, как-будто на приступочках съезда тезисы свои тискает.

— Скажите, больной, помните ли вы своего друга и как его зовут, вернее как его звали?

— Я все помню прекрасно, — говорит Маркс, — но если кучка идиотов задумала экзаменовать меня в этих стенах, то я не собираюсь быть подопытной лошадкой. Плевал я на вас, душители прибавочной стоимости в одной отдельно взятой стране. Когда капитал переходит в грязные лапы патологических убийц и социальных паразитов, мы имеем в наличии такую действительность, которую ни я, ни несчастный Фридрих не могли себе вообразить. Как вы кормите, сволочи, основоположника? Все мясо разворовывается еще на пищеблоке.

— Товарищ Маркс совершенно прав, — брякает Ильич с места.

— Молчать... Вот, товарищи, небольшая иллюстрация к протеканию мании у особо тяжело больных. Хотя второй больной находится у нас на подозрении в симуляции. Различные экспертизы не подтвердили этого, но интуиция иногда поважней экспертиз. Есть еще вопросы к больным?

— Они что, считают себя всамделишными Марксо-Лениными, или, так сказать... в эмпириях эфира? — спросил бледный и весь в прыщиках повышенец.

— Можно мне? — вырвался Ленин. Втупякин с улыбкой кивнул. — Без эфира — этой выдумки поповщины — я перед вами в натуральную величину, товарищи, и пиджак мой хранит запах бальзама и сандаловых масел присланных мне египетскими товарищами в 1924 году... В мавзолее находится Николай Иванович Ежов... нонсенс... воляшук, — тут Ленин захныкал, лицо скривил, я ему шепчу: будет, успокойся, не то на ларек денег не выдадут. Он и притих.

Повышенцам интересно, конечно, такой цирк наблюдать. Раскраснелись, глаза горят, ровно у детишек, когда некоторые живодееры кошку мучают или собаку хитроумно пытаются.

— Разрешите, товарищ военврач первого ранга за мороженым сбегать? — спросил один шустряк.

— Беги, валяй... Иди сюда, Байкин.

Подхожу. Не ору, что я Вдовушкин. Пусть думает Втупякин обо мне, как о поддающемся лечению и встающем вроде Гегеля на ноги. Втупякин и рассказывает мою историю болезни.

Киваю, мол, все правильно. Но после вывода, что я маньяк и манию величия героя советского союза имею, не выдерживаю и говорю:

— Если кто из вас раскопает могилу неизвестного солдата, то его глазам предстанет картина моей правой ноги и установить ее принадлежность мне не составит никакого труда. — стараюсь говорить вежливо и умно, как Маркс. — Давайте, несите ее сюда, а потом поглядим кто из нас прав и кого тут лечить надо.

Хохот. Даже Втупякин закашлялся весело.

— Значит, — говорит, — намекаешь, Байкин, что меня надо лечить?

— Не намекаю, а заявляю с полной ответственностью.

Еще громче хохочут, а меня уже страх пробирает как расплачиваться мне придется за умные и упрямые речи. Молчал бы, мудило, в тряпочку.

— Какой же ты мне ставишь диагноз?

— Диагноз один у тебя на все века, — говорю ясно и твердо, — говно ты есть смердящее и бесполезное для жизни на Земле.

Ну, тут уж весь зал грохнул, как по команде, а Втупякин, хоть и лыбится, но зыркает на меня зло и многообещающе. И поясняет:

— Лечение больного Байкина проходит последнее время успешно, но вы не забывайте в нашей практике о возможных рецидивах болезни, о вспышках не мотивированной агрессии и разнужданного хулиганства.

— Эрго, опасности для общества, — вставляет Ленин.

— Сука, — говорю, вспыхнув, — бригады твои опасны, как гиены, а не я. Шакал. Если б не ты вместе с ними, я бы землю сейчас пахал, а не рожу вот эти разглядывал. Шакалице.

— Рекомендуется ли, товарищ военврач, мера карательного воздействия по отношению к явно вызывающему поведению больного и хулиганско-антисоветским высказываниям?

— Наша психиатрия против репрессирования больных, но в каждом отдельном случае надо полагаться на интуицию и строгую избирательность мер, варьируя их так, чтобы возбудить участки торможения коры головного мозга больного с целью пресечения деятельности его первой и второй сигнальной систем, включая лишение пользованием торгового ларька, что приносит большой эффект в наших условиях. Больной Байкин прогрессирует как выздоравливающий от посталкогольного психоза, но мы с ним еще поработаем. Мы должны рассматривать каждого больного, как помощника врача по болезни и не забывать, что психиатрическая больница — не исправительно-трудовое заведение, где делают упор не на принудительное лечение, а на наказание. Не допускайте рукоприкладства даже по отношению к особо опасным диссидентам с манией правдоискательства и навязывания нам либеральных реформ. Химия дает более высокие результаты отворачиваемости от идеологических мотивов поведения и возмнения себя умом, честью и совестью нашей эпохи с бредом защиты Конституции... Перед вами больной Гринштейн, который кандидат на выписку из больницы... Гринштейн, поди-ка сюда поближе... тебя врач зовет.

Сердце болит глядеть на Гринштейна. Глаза пустые. Лицо отекло. Руки повисли. Губы шлямкают. Втупякин книгу ему под нос подсовывает для опознания, Конституцию новую СССР. Что это, говорит за книга? Узнаешь? Ты же уверял нас в анамнезе, что ты ее наизусть знаешь...

— Ы-ы-ы, — мычит Гринштейн несчастный, — ы-ы-ы... "Возрождение"... "Малая земля"... "Целина"...

Тут Втупякин бурные аплодисменты срывает, как на съезде партии ты — маршал. Повышенцы мороженое лижут. Цирк у них тут.

— После усиленной блокады центров умственной и идеологической агрессии у больных наступает положительная подавленность, переходящая затем с помощью общественных организаций и контроля органов в уравновешенное отношение к старым раздражителям как то: политика нашей партии снаружи и внутри, эмиграция, свобода слова и соблюдение Хельсинки, — поясняет Втупякин.

Затем Степанова демонстрирует. Этот не расплылся вроде Гринштейна, а ссохся, почернел, постарел лет на тридцать, не преувеличиваю.

— Ну-ка, Степанов, расскажи нам в чем задача советских профсоюзов?... Дело в том, товарищи психиатры, что Степанов долгое время вел работу среди заводского персонала насчет создания профсоюзного контроля над прибавочной стоимостью и жилищным строительством, страдая с детства манией обличения руководства в злоупотреблениях и так далее. С чужого голоса пел... Как ты, Степанов, теперь понимаешь роль наших профсоюзов?

— Во время взносы надо собирать... руки прочь от Ирана кричать, — быстро так и озираясь проговорил Степанов.

— Вот и хорошо, дорогой. Скоро домой пойдешь, — Втупякин говорит.

Снова бурные овации. Но Ленин снова возникает:

— Да здравствует интервенция в Польшу. Положим конец вмешательству рабочих провокаторов в дело строительства польского государства. Защитим интересы братского народа от вмешательства империалистических подголосков типа Леха Валенсы в дела партии. Смерть крестьянкам-кулакам, мешающим росту колхозного сознания в середняцких массах... Ура-а-а.

Опять хохот общий в зале.

— Руки прочь, — орет Маркс, — от прибавочной стоимости, выродки, оседлавшие вершины власти. Прочь. Привет молодому Марксу. Слава деньгам и товару в продуктовой ларьке. Чего ржете, филистеры поганые?

А смех еще громче в зале. Втупякин постучал ключом от отделения по графину. Марксу что-то сказал на ухо. Ленина одернул. Мне пальцем пригрозил, чтобы самовольно не выступал. Но я и сам плевать хотел на эту говорильню... Не до них было...

— На сегодня, товарищи, хватит. Не забудьте о неразглашении впечатлений, а то и так шибко много утечки информации. А ведь мы решением правительства приравнены к почтовому ящику первой категории. Враг пытается поставить себе

на службу нашу паранойю, шизофрению и различные мании с депрессивными психозами... Зачеты буду принимать в среду...

Увели нас. И стал меня Втулякин из мстительности доводить химией и шоками до критического к себе самому отношения. Диссидентов же до того довел, что они на свиданке жен своих и матерей не узнали. Смотрят на них остолбенело и не узнают. Только загадочно улыбаются. Это нам с Лениным Маркс рассказывал, когда к нему баба приходила и передачу принесла...

Колет меня Втулякин, таблетками разноцветными пичкает и приговаривает:

— Забывай, Байкин, свой дурацкий синий платочек, поживешь ведь еще на пенсии инвалидной, покостыляешь по парку культуры и отдыха, пивка попьешь с баранками и сухариками черными с солью, я тебе добра желаю, хоть ты и всех ненавидишь как крокодилов, чертяка безногая...

И начал я постепенно сдаваться духом. Унывать начал. Добились своего паразиты. Сижу целыми днями в сортире, проклиная себя за то, что с Леней фамилиями махнулся, жизнь Нюшкину загубил, на муки ожидания ее обрек, будучи живым и сравнительно невредимым, судьбу испоганил, отчество отцовское забыл пока на митинге не услышал, вот до чего дошел, прохиндей... Мимо пронеслась геройская моя судьба, может я певцом заделался бы вроде Трошина и басил по радио с голубыми огоньками: "подмосковные ве-е-е-чера..." Мимо. Все — мимо... Ужас... Ужас, маршал. Веревку из обивочных шнуров от дивана замастырил. Все, думаю, решено, фронтовой

певец, мировая умница, кранты тебе приходят, не выдерживает твоя душа такого переживания нечеловеческого, зарыл ты имя свое в землю сырую, теперь следом туда полезай, никчемность и пьянь рваная, жена твоя в километре от тебя расположена, а ты до нее дотянуться не можешь. А если дотянешься, то права она будет, что счет тебе предъявит за холостые годы и ожидания, когда ты баб вдовых обслуживал по графику, дивизию целую безотцовщины наплодил, в книжках такого гада шалавого не встретишь. Нет тебе места среди людей, даже в такой пакости как коммуналка, полная зловредных змей и гадюк... Умри, ешак безродный и бесстыдный гость на земле. Прочь уходи, горе бестолковое...

Не могу больше переживать. С ума и взаправду сходить начал. Хватит. Решился с некоторым облегчением принять к себе самые суровые меры. Время выбрал. Умылся с утра первый раз за два месяца. Зубы почистил. Бритву "спутник" у Втупякина попросил. Щетину заскорюзлую сбрил. Поел. Завтрак свой Ленину не отдал. А то отдавал от безразличия к пищеварению и с тоски. Маркс тоже без супчика моего в обед остался. Умереть, рассуждаю, надо всенепременно в форме и после оправки, чтобы все было в этот хоть момент красиво и порядочно. День танкиста, кажется, был. Тебе, маршал, бесстыдник ты все-таки, по телевизору еще одну бриллиантовую брошку навесили жополизы старые. Ах, так, думаю. Тут свою кровную звезду героя не вызволишь, а ты себе присваиваешь награды погибших маршалов, генералов и солдат? Так? Ухожу из жизни, чтоб только не видеть позорища такого несусветного и

такой неслыханной срамотищи, уйду обязательно. Вот день танкиста справим и уйду, вручай тут сам себе без меня хоть короны царские и сабли наполеоновские. Жаль, думаю, только, что не доживу я до исторического момента, когда тебя с настоящей манией величия положат на мою коечку и Втупякин начнет выбивать из твоей головы мысль насчет твоего значения для народа в войну, в возрождение и в борьбе за мир. Жаль.

Тут Ленин откуда-то выпивку приносит. Муть в бутылке, но чувствуется в ней весьма многообещающая дурь.

— Я, — говорит, — гульнуть сегодня по шалашу с полным разливом желаю. Вот вам спирт, кадетские рожки.

— Где вы достали его, Ульян Владимыч, — спрашивает молодой Маркс и добавляет. — Греческая философия закончилась бесцветной развязкой.

Так прямо и сказал тоже в большом почему-то унынии. Сели мы за стол. Втупякин, как всегда в праздники, нажраться успел и в процедурной дрыхнет. Ленин разливает муть в кружки и поясняет:

— Я своевременно навел порядок в препараторской. Я выбросил с согласия политбюро к чертовой бабушке на свалку истории заспиртованные мозги Канта, Гегеля, молодого Маркса и Энгельса. Мы идем крепко взявшись за руки дружной кучкой по краю пропасти и нет у нас головокращения от успехов. Спирт же выпьем мы — творцы историй своих болезней, мы — пегвопгоходцы, товагищи мои по конспигации.

Он иногда, входя в раж картавить начинал. Маркс не унимается:

— А почему вы не выбросили на ту же свалку мозги Сталина, Хрущева, Буденного, Ворошилова и бровастой жалкой марионетки военно-партийного комплекса?

— Потому что, батенька, мозгов-то у них как газ не геквизиговали по причине полного их отсутствия в че-ге-пах, — ответил Ленин и, потирая ручки, засмеялся довольный... Шарахнули грамм по сто для начала.

— Умнейшая настоечка, — крикнул Ильич.

— На ваших сифилисных полушариях так бы не настоялась, — подъялдыкивает молодой Маркс. Диссиденты пить не стали. Они отошли слегка после блокады психики и притихли. С умом начали действовать в отличие от меня.

Захмелел я от ленинской тошнيلовки, вонь от нее во рту и в брюхе жжение. Подвожу в душе итог безобразной жизни, обросшей ложью. Страшный итог. Спившаяся голова, две праздных руки и неприкаянная одна нога. Протез переломан об башку Втупякина. Верный костыль имеется и палка. Перспектив же нет никаких, кроме Втупякинских кулачин и ядов на воле и в дурдоме. Слез и то на сегодня больше нет. Иссяк источник слез.

Последние минутки, понимаю, мне остаются. Обвожу вполне нормальным взглядом действительность. Одно уныние. С обезьяной, плевать на то, что он — сексот-стукач-наседка, и то веселей было. Прыгает бывало с койки на койку и наяривает на ходу свою женилку неутомимой волосатой лапой и орет:

— Мы-мы-мы-мы жи-жи-жи-жем в пер-пер-пер-вой фа-фа-фа-зе-зе коммунистической формации... разведем Крупскую пожиже-же-же на всех хватит.

Смех один... А сейчас — уныние. Диссиденты письмо на волю очередное химичат. Маркс молодой под хмельком Ленину свою правду втолковывает:

— Чтобы народ развивался свободнее в духовном отношении, он не должен быть больше рабом своих физических потребностей, крепостным своего тела...

— Польским профсоюзам плевать на этот ваш тезис, — говорит Ленин.

— Очень приятно, что наконец профсоюзы соцстран становятся врагом тиранической партии, — вставляет тихо Степанов. Не вытравил из него Втупякин правого дела.

— Над нашим прахом прольются горячие слезы благодарных людей, а мировой капитал всегда шествует одной и той же поступью, — сказал Маркс и вдруг горько, горько зарыдал. — Как я люблю свободу. Клыкой проклятая птица больную печень Прометея, камни выклевай из нее... Ой вы гой еси члены первого интернационала, да вы ударьте того орлика по головке, кликните верных отчужденному труду пролетариев, пушай они блокаду аллахоловую предпримут против птицы-хищника-злодея. Печень моя прометеевская страдает... А вы — усевшееся на Олимпе поллитбюро, погрязшее в разврате Зевса, вы — развалившиеся на вершине власти чушки с рылами

неумытыми — держите орла за ноги, выдерните у него крылья из гузна и оперения, поклонитесь низко прибавочной стоимости, замолите грехи перед нею и хватит небо штурмовать, толку от этого нету никакого, а Демиург толечки посмеивается, да заносит над нами дубинку возмездия страшного. Ой, что тогда будет, Фридрих ты мой батюшка, Клавдия Шульженко — матушка, что тогда будет, завтрака-обеда-ужина не дадут, шприц полметровый в левую и в правую фракцию влупят, передачку отменят, на свиданку накажут, априорили мы, априорили, вот и доаприорились говнюки до всемерного развития самых ехиднопакостных способностей человека в правительственном аппарате псевдосоциалистических стран и постепенного обогащения рабочего класса под сладким игом капитала... Уберите орла, уберите, всего Прометея отдаю за здоровую печень, дай, Ильич, мозговухи рюмашечку, боль залить несусветную, харкнуть на предисторию моей болезни, частной собственностью занюхать, Фридрих-Федя, друг бестолковый, мать твою ети в диалектику природы, плач мой младомарксовский услышь и давай все начнем сначала, антикоммунизма святого и с Божеского происхождения семьи и государства абстрагируясь от обезьяны полностью вплоть до седин моих выбритых МВД, услышь плач мой титанический, Зевс засратый до партбилета...

Тоска. Кажется, маршал, нет на земле человека довольного своим местом в жизни... Я ведь пишу тебе и для того еще, чтобы совесть в тебе

проснулась от прочитанного пока не поздно. Пока не предстал ты перед Всевидящим и не спросил он тебя:

— Всю, говоришь, отдал ты жизнь в борьбе за счастье советских людей, неуклонно проводя через них твердую линию марксизма-ленинизма, и за это самое побрякушки сам себе навешиваешь на выпяченную грудь? Ну-ка, поглядим какого ты им счастьяца подкинул, государь хренов.

И отглянешься ты и увидишь все как оно есть, а не как тебе докладывают отдрессированные шестерки. Уши откроешь и услышишь правды народной рыдание, лживости вашей бесстыдной партийной чертовскую хохотищу. Ноздрей воспрянешь — не учуешь, маршал, душка пельменного с уксусом, с маслицем, со сметаной, порохом нынче, серую, полем боя несет, гибелью нашей потягивает поутру от твоего пролетарского интернационализма...

Тыщу раз прав Гринштейн Моисей, что если кухарка начнет руководить государством, то кухаркины дети осатаневают и превращают свою жизнь в рай на земле, а нашу в ад кухонный здесь же.

Тоска... Вдруг Ильич на стол залазит. Руки — вперед и вопит:

— Все на демонстрацию, товарищи.

Диссиденты подушкой в него запустили, я куда подальше послал, а Маркс выпшел. Качается, но как бы участвует в демонстрации. Гольф разделся, ходит мимо мавзолея, а Ильич с трибуны орет:

— Смело продолжайте дестабилизировать

экономику Запада. Ура-а. Обрубим серпом руки, покушающихся на социалистические завоевания в Польше. Ура-а. Афганистану — первую пятилетку — Афганцев — в колхозы. Шагом марш из-под дивана. Да здравствуют советские профсоюзы — школа коммунизма... Сотрем с лица малой земли Израиль... Повысим производительность труда до неузнаваемости...

Тоска. Маркс окосел совсем. бормочет:

— Деньги-товар-деньги-товар-деньги-товар-деньги. — И при этом "цыганочку" бацает. — Ух... ух... ух...

Ну, все, думаю, хватит, Петя, гулять по буфету, что тебе смерть? Есть заварушки пострашней смерти. Смерть все твои узелки развяжет и разрубит. Пора. Воевал ты, как фронтовой певец и мировая умница, жил же, как вша в неприличной прическе, чубчик пропил кучерявый, Ньюшкину судьбу, сволочь, разбил, лезь в петлю, солдат, поболтайся слегка между небом и землею, семирамида пропащая, герой советского союза...

Плачу последний, по моим прикидкам, раз. Последние слезки лью горькие и сладкие от прошлого и будущего... Конец моего времени подпирает. Не могу смотреть на действительность. Не могу...

Тут Ильич трясет меня за плечо:

— Товарищ Вдовушкин, исполните-ка нам в честь танкистов раздавивших польского профсоюзного гада свою нечеловеческую музыку на слова Кржижановского, буквы Иоганна Федорова.

Выслушал я всю эту белиберду, ровно с того

света и взыграла во мне вдруг солдатская совесть. Есть она у меня, есть, слава Богу. Неужели уж вот так, без песни покинуть мне навсегда это унылое местожительство? Ужасная была бы, Петя, ошибка, стратегическое, более того, поражение, жалкий плен в мохлястых лапах смерти. Я петя желаю.

Беру расческу, бумажку папиросную прибереженную к ней прилаживаю, вступление делаю и начинаю глоткою своей луженою, промытой алкогольной мутью из-под мозгов Маркса, Энгельса, Канта, Гегеля, Буденного — двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили нам объявили что началась война синенький скромный платочек падал с опущенных плеч чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...

На одной ноге стою, без костыля и без палки, потому что успел выкинуть в окно их ввиду ненадобности, пусть мальчики подберут их и в инвалидов поиграют, память обо мне на краткий миг побудет безымянная... Долго ли, думаю, до табуретки доскакать и башку непутевую сунуть в петлю? Не долго.

Но вот стою, пою и чую, что каким-то чудесным образом я — Петр Вдовушкин, без пяти минут самоубийца, оживаю. Оживаю в себе, как говорит Маркс, когда ему жена пожрать по воскресеньям приносит... Веселею. Не может так быть, чтобы я сам этот жуткий клубок не распутал беспощадно и скромно. Чую, что чего-то не хватает мне для повешения, пренебрегаю смертью, пою,

заливаюсь: синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...

Помру, но не отступлю, повоюю с Втупякиным, попытка — не пытка, елки зеленые, Петя, певец ты мой фронтовой и мировая умница, сколько заветных платочков ровно в четыре часа...

Хлобыстнул еще от радости продолжения жизни пол кружки мозговухи ужасной и смотрю — Ленин с Марксом на полу посинели, хрипят, согнулись в три погибели от корчей... Батюшки... отравы.

Диссиденты от письма своего оторвались, пальцы им в горло вставляют, чтоб сблевали, но видать крепко мужичков прихватило. Мне же хоть бы хны. Я, как говорится, веселый и хмельной. Даже не мутит. Отрыжка только очень злобредная и не натуральная, преисподней слегка отдаст... А Ленин хрипит:

— Наденька... помираю... политическое завещание... зачитать на "голубом огоньке"... последний и решительный бой... шагом марш из-под дивана... проклиная...

Скачу в процедурную, тормозу Втупякина. Тот пьяный в драбадан. Диссиденты вопят: "Ленин дуба врезает! Врачей! Маркс загибается!"

Снова тормозу Втупякина, а он орет невменяемо:

— Не мешай отдыхать, гад, не то вторую ногу из жопы выдеру. Прочь!

Ужас что творится. На помощь никто не приходит. Какая уж тут помощь в день танкиста? Все в свое удовольствие живут. Спирта у санитаров

хватает... у Маркса на губах пена желто-зеленая, глаза на лоб от боли лезут. Тут здоровый человек тронулся бы на моем месте. Что делать, спрашиваю Ильича, водой его попоивая. Растерялся я.

— В мавзолей... Ежова прочь... гроб дезинфицировать хлоркой... — продолжает хрипеть Ленин. Сам я вроде не поддаюсь отраве. Зачем ей меня брать, если я сам ТУДА собрался (курсив мой. П. В.).

— Петя, поди ко мне, — зовет вдруг Маркс. — подхожу и наклоняюсь. — Я тебе одному доверяю... больше некому... кончаюсь нелепо... передай во что бы то ни стало жене... весь капитал... под девятой яблонькой слева... в саду у тестя... запомни... не в нашем саду... в тестевом... поклянись надо мной... выполни с честью и эту мою заповедь...

— Клянусь, — говорю, — если жив буду и волен, передать все, как есть твоей бабе.

— Хорошо... кончаюсь... над нашим прахом прольются слезы благодарных людей... Ленин — говно... отравил-таки... их бин глюклих... Петя... призрак коммунизма бродит по палате... Я честно тебе скажу... Балабан я... состояние имею... от диктатуры спасал... не вышло... хрен с ним... болит...

Тут врач наконец приперся дежурный. Еле на ногах стоит. Маркса почерневшего приказал унести на промывание, а у Ленина пульс пощупал. Простыней его накрыл и говорит:

— Ленин мертв всерьез и надолго. Пусть до утра здесь возлегает. У меня ключей нет от морга. Нечего дрянь жрать всякую.

Прикрыли мы Ленина казенной простышкой. Маркса, зашедшегося в крике, на носилках утащили. Над Лениным Степанов, как батюшка, всю ночь остальную молитвы читал. А мне уже не до смерти было. Петлю свою самодельную, с нехорошим к ней чувством, выкинул в форточку. Под окном костыль мой с палкой валяются. Пригодятся ведь еще, а я их, дурак, выкинул, мудрости нету во мне ни на грош.

С историей болезни марксовой поступил зато своевременно в предчувствии шума и генерального шмона. Тут я был мировой умницей, маршал.

А шум был из-за истории великий. Втупякин просто посерел до прозелени на физиономии, когда хватился. И стращал он нас, выпытывая, где история, и заманивал, и короба гостинцев сулил, только отдали бы обратно, если стырили по несознательности. Никто из нас не раскололся. Хорошо, что Ленин вовремя дуба врезал. Этот продал бы всех наилучшим образом. Не раз продавал по пустякам, потому что у него, видите ли, от партии нету никогда никаких секретов... Все же я его жалел. Он, как-никак, первый поверил, что я не Леня, а Петя Вдовушкин, Петр...

Уперлись мы все на одном: нам своих историй болезней хватает. На хрена нам еще чужие? Мы что сумасшедшие что ли?

Особенно диссидентов пытал Втупякин. Стною, говорит, сволочи, всех до конца, сами себя узнавать перестанете в зеркале. В ЦРУ решили переправить и в Израиль? Кроме вас некому было стырить секретную документацию, я вас в

органы передам, манию величия преследования пришью на веки вечные, чтоб Америка вас психов к себе не пустила, на Родине, скоты, до гроба загорать будете, век свободы не видать, отдайте, три литра водки принесу... А Гринштейн со Степановым к большой моей радости отвечают:

— Ты сам продал, скорей всего, сверхсекрет истории болезни нашего Прометея английской разведке и следы заметаешь. Врачи, соблюдавшие клятву Гипократа, как зеницу ока, они никогда не теряют истории болезней. Сам расхлебывай теперь кашу, а мы жаловаться будем и голодовку объявим за все твои угрозы. Конституцию соблюдай хотя бы, свинья тупая с вымазанным нашим здоровьем пяточком...

Как ни странно — примолк Втупякин. Осунулся. Калечить нас прекратил и вышел из положения очень ловко. Новую историю целую неделю писал ночами с двумя повышенцами. Ведь Маркс выжил в конце концов, но ослеп от мути алкогольной из под чьих-то мозгов напрочь. И пошел слух по дурдому, что Втупякину жена Маркса взятку дала приличную, типа десяти тыщ новыми за комиссование мужа. Втупякин созвал консилиум под своим руководством и решили Маркса освободить на поруки родственников, как тихого и слепого безумца. Вот как, маршал, дела свои надо устраивать. Тут я Втупякина не осуждаю. Ему тоже жить как-то надо, не таскать же с кухни помои для поросят в портфеле, как это наловчились санитары поступать ввиду отсутствия мяса на прилавках.

Повеселел Втупякин. Помягчел слегка от самодовольства и наличия крупного капитала.

Снова за свою диссертацию, то есть за меня — принялся. Я и делаю тогда резкое заявление:

— Ты хоть и Втупякин, но не мировая умница, и тебе меня не перегнуть ни шоками, ни химией, раз я уцелел от смертельной мути из под чужих мозгов, только свет помрачился в глазах. Раскроется рано, или поздно, что я — Вдовушкин Петр, герой советского союза, фронтовой певец, ныне калека, страдающий за свое же раскаяние души и лукавые помыслы ума. И ты погоришь тогда со всеми потрохами, ибо тебе генералы и маршалы не простят глумления над памятью страшной битвы и страдания народа. Не перегнуть тебе меня все равно, если я не то что совсем, как Маркс, не ослеп, но и не подход, как Ленин. Говорю так смело, потому что желаю сделать основное заявление для новейшего доказательства натуральности своей личности и ничего не боюсь. Слушай и передай дальше: в целях спасения личного состава дивизии от безумных приказов комиссара, гнавшего всех на верную и бесполезную смерть, я выстрелил в него из боевой винтовки, номер ее забыл, виноват, и сэкономил сотни солдатских жизней, прорвавших затем окружение, отстояв честь Родины и жизнь на земле, как таковую... Что скажешь?

— Фамилию комиссара помнишь, Байкин?

— Во-первых, — отвечаю вежливо, — не Байкин, а Вдовушкин, а во-вторых, фамилия комиссара была Втупякин. Хорошо помню.

— Очень интересно, — обрадовался Втупякин. — Умница. Ты у нас прямо гений паранойи. Большую задачу помогаешь мне разрешить и кое-что повернуть по-новому. Спасибо тебе.

— Стараемся, — говорю, — как можем. Правда — она всегда концы с концами свяжет, — смутился я, как человек прямодушный, от втупякинской похвалы, не дошла до меня его радость.

— А теперь поясни какую ты цель преследуешь таким решительным признанием?

— Хочу, — говорю, — предстать перед любым судом во имя правды всей этой истории. Доказать желаю, что я это — я, а Леня это — Леня, мой друг, и что нога моя правая закопана вместе с ним. Почему он должен числиться неизвестным по моей вине и от того, что на месте нашей законной могилы Втупякин дачу выстроил для своего паразитского семейства?

— Кто построил дачу? Повтори, пожалуйста.

— Втупякин, — повторяю. — Секретарь обкома тогдашний. Теперь в ЦК небось перекочевал.

— Очень хорошо. Конфетка у нас с тобой получается, а не картина заболевания. Ну, а дальше что, Вдовушкин?

Верить, маршал, вновь заплакал я, услышав от Втупякина родную фамилию. Прошибаю все ж таки стену эту толщенную непрошибаемую, вроде бы.

— Дальше, — говорю, — могут отобрать у меня геройство за ликвидацию комиссара. По уставу не положено было убивать его в бою. Готов держать ответ за это недоразумение. Я не ради золотой звезды стараюсь. Не за побрякушку борюсь. Желаю перед женой предстать таким, каков я есть на очной ставке. Суда ее желаю. Убедительно об этом прошу. Враз меня Нюшка признает родным супругом. Надо только нашатыря припасти на

случай кондрашки. У баб от таких дел ноженьки подгибаются и дух пропадает... Тут и конец твоей диссертации, доктором станешь, пивка поьем на хоккее.

Ручки потирает Втупякин и смеется довольный.

— Занятно. Комиссара никакого ты, конечно, Байкин не убивал. Это у тебя бешеная ненависть к партии и правительству остроумно под болезнь замаскированная. Ведь ненавидишь ты их вполне разумно? Не бойся говорить, под следствие ты с этим диагнозом все равно не попадешь. Ненавидишь?

— Разумеется, — говорю откровенно, — любви мне к ним питать нечего ни за свою судьбу и жизнеустройство, ни за распорядительство хозяйством, снабжением и прочей народной жизнью. Не за что мне их любить, но и я от них к себе лично любви не требую. Не унижусь, хоть и дошел я до последней жалкости и распиздяйства, извини за выражение. Я лишь прошу по закону раскаяния не затыкать мне в глотку правду моей судьбы и ложь заблуждения. Раз ты есть государство, то восстанови право гражданина на обретение похоронного имени, а прожить я и без твоей ласки и заботы проживу, в гардеробе театра устроюсь пальто подавать и с биноклей гривенники сшивать. Так-то вот.

— За откровенность лишнюю котлету велю дать тебе сегодня, — говорит Втупякин. — Ну, а скажи со всей откровенностью: настроений и мыслей ты у Степанова с Гринштейном нахватался? Ихнюю музыку повторяешь.

— Они, — говорю, — сопли еще глотали, когда я горя помыкал из-за фамилии и колхозной отвратительности для крестьянина почти невыносимой. Я и сам поучить могу десяток диссидентов настроениям и мыслям. Так что давай бери ближе к очной ставке с моей женой, а то я Сахарову письмо накаваю.

— Сахарова ты скоро на психодроме увидишь. Там и потолкуете о бесшабашных претензиях к нашей Родине.... Добьюсь, чтоб перевели его к нам из Горького... А насчет Нюшки так называемой... Устроим вам очную ставку по линии научного эксперимента. Отчего не устроить? Ты ведь в руках советской психиатрии, а не зарубежной. Женщина сама просит повидать тебя. Смутил ты хамством жену героя. Ради нее на это иду. А если расскажешь, кто стырил историю Карла Маркса, я тебя раньше времени выпишу и в санаторий помещу хороший. Укол могу сделать, чтобы желание половое в тебе проснулось. По рукам?

— Насчет желания — не бойсь. Проснется, когда надо будет, не проспит... Болезнь же, то есть историю, Ленин сжевал. Странички вырывал, на кусочки мельчил и ту самую муть мозговую ими закусывал. Глотал пока не помер. Унес с собой, как говорится, в могилу всю историю. Такие дела.

— Ну, иди, скотина. Чтоб через два дня бритый был, не вонючий от мочи и не оборванный. Штанину подверни поизящней и культу свою не демонстрируй. На ставке, при эксперименте, не вздумай беситься. Я тебе потом так побещусь, что

дерьмо собственное за конфету "мишка на севере" примешь, выть две недели под сеткой будешь и железо кровати кусать. Понял?

Я — в слезы от безумной надежды. Снова открылся от радости ихний источник.

— Спасибо, — говорю, — доктор..спасибо... век не забуду... спасибо... все ж таки какой ты ни на есть злодей ученый, а русская в тебе под халатом теплится душа... спасибо...

— Души нету в нас, дурак. Есть лишь душевные болезни ума, — говорит Втупякин без бешенства обычного.

Отковылял я в палату вприпрыжку, рыдая от счастья. Близок мой день, близок. Ничего не боюсь. Сгорю от стыда, вины и позора, но возрожусь. Непременно возрожусь, за убийство комиссара готов срок отволочь, хотя и не жалею, что убрал его с поля боя, самоубийцу очумелого и погонялу казенного, прости Господи, грех вынужденный, ради солдатских жизней и победы принял я его на душу, прости... Свет ведь засиял в мрачной пещере моего последнего времени. Есть для чего и для кого жить тебе, Петя, сын Родины и, как говорится, враг народа... Много света, маршал, просто глаза режет, невмочь, ничего не вижу, руками ощупываю себя, койку, диссидентов обоих и еще какого-то нового мужчину в палате, а в глазах — лишь свет с искорками, ровно в кино или по телику, застлало глаза.

— Это у тебя, Петя, от ленинской бормотухи слепота пошла. Взяла наконец. Не нервничай. Ты — мужик дюжий. Терпи. Может еще прозреешь. Так бывает.

Степанов так меня успокаивал, а новый мужчина руку мою взял и целует с ласковыми словами:

— И не сумлевайся, подпиши наряд на три скрепера, а мы тебе железа листового подкинем и шарфов махеровых три кило. Уважь, Данилыч.

— Уважу, — говорю, — милый, уважу, не береги себе душу говном всяким. Что нам стоит дом построить? Лишь бы по праздникам на работу не гоняли. — отвлекла меня на чуток от своих мытарств чужая беда. Даже полегче стало, да и новый сосед привязался ко мне, за какого-то министра принимает важного, который наряды на бульдозеры в Москве подписывает. Чиркаю на бумажках подпись — Вдовушкин. Не глядя чиркаю. Вспомнила рука как буквы по трудовням выводила и протоколы допросов подписывала в НКВД... В сортир меня водят люди по очереди и на прогулку. А я не переставая терзаю себя: вот тебе и ход судьбы тухлым конем, Петр Вдовушкин, фамилия твоя больно печальная.

Затих во тьме уныния. Неужели за комиссара выпало мне такое наказание? Больше не за что. Остальное я себе только поднаваливал, себя казнил и подводил под монастырь. Больше я никого не обижал. Баб жалел. Сам голодал, а Машке последний кусок подкидывал... Или за врачуху карает меня Господь?.. Может, если б не холодный тот разговор с презрением и обидой, не равнодушие мое к любящей твари женского рода — и осталась бы в живых она, разродившись ребеночком?.. Кто знает?.. В темноте видней, вроде бы, становится отдаленная жизнь, маршал, и

ничто не мешает разобраться в ее непоправимостях... Затих я. Не было в моей жизни бедовее минут, часов и дней. Порешил бы себя, если бы не свидание.

А Втулякин изгиляется:

— Поделом тебе, пьянь, не будешь гадость казенную глотать. Как же ты теперь жену свою опознаешь? Пощупать пожелаешь? Пропил зыркалки?

Умираю от этих слов, умираю, не могу...

— Мы напишем жалобу генеральному прокурору. — заступился за меня Гринштейн. — Это — сатанистическое издевательство над инвалидом и глубоко несчастным человеком,

— Да, да. Именно — глубоко несчастным человеком, — заявляю.

— Лечить не нас надо, а таких уродов племени людского, как вы, — кричит Степанов, а новенький мужчина об стену лбом забился и повторяет нервно:

— Дайте нам бульдозеры... дайте нам олифы... дайте нам джема клубничного...

— Так, значит, — говорит Втулякин, — опять забунтовали? Подновим блокаду. — Крикнул санитаров, паскудник. Вяжут, чую, диссидентов со строительным человеком, рты им заткнули, мычат они невыносимо к койкам ремнями пришвартованы. Меня в этот раз в покое оставили. Без глаз я, без ноги, без костыля и палки — полный калека. Язык бы еще отнялся, думаю, к чертовой матери и — совсем был бы как статуя в парке, пацанами оболваненная...

Но с другой стороны, в темени сплошной, как бы отдыхаю я от долгой неправильной жизни, в память ухожу все глубже и глубже, назад, так сказать, покатился, ровно обрубок войны на тележке с колесиками с асфальтовой горки... Мамашку и папашку только вспомнить не смог, потому что кутенком еще слепым был, когда ваша зловонная власть разлучила их со мною жестоко и по очереди... Бабка Анфиса... деревушка... рыбалка... телок в сенцах зимних теплым и кислым дышит мне в нос... пауков в летнем сене ловлю косикосиножек... ноги им отрываем и гогочем... каково пауку без ног, Петя, понял теперь?.. вот она — гармонь моя с малиновыми колокольчиками... волна в руках, а не инструмент... ты сыграй страдание, Петя... Нюшка это просит голосом своим небезразличным к чубчику моему... Господи... жизнь ведь была у меня, несмотря на втупякинскую власть... была, потому что сильнее она Втупякина, и будет жизнь, если не для меня, то для других женщин и мужчин, сколько бы не отвлекал от нее Втупякин горловыми, натужными зазывами вперед — в пропасть зловещую... по краю пропасти дружной кучкой идут, крепко взявшись за руки Ленин с друзьями безумными.

Как бы, думаю, остановить их вежливо и обратиться к другому, менее рискованному для людей, делу?.. И как же скончавшийся от мути Ленин мог заглядывать в пропасть, если он высоты терпеть не мог?..

Ковыляю, прыгаю от койки к койке, водицы подношу братишкам привязанным, кляпы изо

ртов вынул им, успокаиваю, ухаживаю, одним словом, слепой, но вольный сравнительно человек... Два дня продержали бедняг в путах с замками...

Еще одного нового привели, вместо Маркса, очевидно. Священник, как понял я из разговоров. Голос мягкий, веселый и спокойный поразительно. Как в палате дома отдыха после обеда, когда размор забирает полдневный. Дайте, говорит, мне лист бумаги, и я с карандашом в руке докажу вам, как дважды два, что в патриархию проникло КГБ с погонами под рясами. Православные люди всей планеты обзяны изгнать сатанинское отродье из лона Святой Апостольской Церкви. Как можно считать безумцами тех, кто лишь указывает на очевидные факты и понимает их смысл? Молюсь за исцеление гонителей и лже-свидетелей... Степанов заспорил с ним:

— От Бога советская власть или нет?

— Не мучьте меня, голубчики, — тихо и весело взмолился бедный, — сомневаться и я в этом изволяю — грешен. Должно быть, приятная душе власть — нам в утеху, поганая же советская — в наказание, в испытание. Сказано: всякая власть от Бога. Но если кто полагает, что он ни в чем не повинен, а терпит измывательство и удушение сердечных стремлений с покушением властей на Дар Божий — на Свободу, то я дерзну сказать следующее, открыв вам свои сокровенные уразумения. Если выпало нам счастье и радость унаследовать ЖИЗНЬ, то как же, унаследовав ее, оставить себе в долю лишь сладкие милости, а накопленные за долгие грешные века неприятности

отделить от судьбы частной и общих судеб? Не отделишь, сколько бы не рыпался, милоч. Принимай сладость с горечью, свободу с неволей, свет со тьмою... — примолк батюшка, ибо, понимаю, что на меня он в данный момент глядит с испугом и сожалением.

— Мне, — говорю, — не горько от ваших слов, а наоборот... светло.

— Помоги тебе Господь, милоч. Я вот помолюсь за твое исцеление.

— Спасибо, батюшка. Исповедуй меня до обеда. Давно не исповедывался... А таблетки выблевай обратно. Я тебя научу. Лучше тело вывернуть на изнанку, чем душу и имя.

— Хороший совет. Непременно выблюю. Не поддамся адской отраве.

— Нет, отец Николай, — вдруг после рассудительного молчания говорит Гринштейн, — советская власть — не власть вовсе. Вот в чем дело. Она — выродок идеи власти. Произвол она гнусный кучки морального, безкультурного, безликого отребья, присосавшегося к нашим душам и шеям. Вот и все.

Тут Втупякин заявился.

— Ну, — говорит, — приготовляйся, Байкин. Завтра рандеву я тебе устрою, чтобы от мании ты избавился и остаток слепых дней провел в престарелом доме. Хамств не позволяй. Вдова всю жизнь, можно сказать, на ожидание мужа ухлопала, а ты хамишь при вручении ей награды законного героя. Если бы не диссертация, ни за что не устроил бы такого дела. Понял?

— А ты, милоч, вообрази на одну лишь секундожку, всего лишь на одну единую, что сосед наш

не ошибается, но правду сущую открывает, — говорит батюшка. — Разве в науке отменен метод предположения, каким бы парадоксальным он не казался смущенному разуму?

— Умничаешь, Дудкин. Если я, как советский врач-психиатр предположу такое, то всех вас надо шугануть отсюда, а меня заключить на ваше место для принятия курса активного вмешательства в пораженную безумием психику. Фрейдизм пускай предполагает. Мы же — медицинские большевики — и впредь намерены исключительно утверждать.

Все трое почему-то в смехе закатились безудержном над Втупякиным.

— Посмейтесь, посмейтесь. Завтра я вас приторможу слегка. Поплачете, — говорит Втупякин и снова в какие-то рассуждения о здоровом смысле пускается.

Не прислушиваюсь. Уходит душа моя в единственную пятку от безумного страха и еще более безумного восторга... Ты, действительно, представь и себя, маршал, в моей страдающей шкуре хоть на минуточку, если способен еще представлять что-нибудь кроме премий, бриллиантов и сабелек... Лежу, ослабший от искреннего нежелания принимать пищу... Лежу, молодость свою припоминаю и как задыхался от одной только мысли о Нюшке... жена моя, Настенька, Анастасия, что же я с нами обоими наделал, подлец... и — тьма в глазах, лишь слезы тьму подчеркивают, ровно звезды июньскою ночью в четыре часа... Киев бомбили нам объявили, что началась

война... чем же занимался я, когда ты, ни за грош пропадая, баба красивая и молодая Петра своего любимого больше жизни... ты говорила, что не забудешь... ждала, Господи, прости, вот она, кара небесная, за все грехи мои пришла, сил нету выносить, порази меня, Господи, убей, или исцели хотя бы частично... как же не учуял я Нюшкиной жизни, чудом спасенной... с целым колхозом спал, пацанвы наплодил видимо-невидимо, все голубоглазые, кровь с молоком и щеки красные, теперь уж сами небось в отцах ходят, отчего же не с тобой я их прижил, ешак блудливый...

Лежу на койке дурдомовской, мечтаю во тьме, как все у нас с Нюшкой могло быть иначе, красивой и со счастьем, спирт проклиная ленинский из под чужих мозгов умалишенных, загубил он фронтового певца. Пули не взяли человека, осколки не взяли, Бог его миловал чрезвычайно, и Ангел Хранитель берег, а Ленин доканал-таки, проказа.. Зачем такому человеку жить? Смотреть на него страшно, сам же он никого и ничего уже не видит. Тьма... Однако, самоубиваться не рассчитываю почему-то. Достичь жажду бережка правды, а там, авось, во благо какое-нибудь поновой вынесет...

Побрили меня диссиденты. Приодели. Ободрили. Ни в ком сомнения нет, что случай мой натуральный, а не мания преследования величия. Батюшка молитву вознес за меня:

— Господи, прости рабу Твоему Петру тяжкий грех лжи, убийства и подбострастья с пребыванием в чужой личине, не ведал, дурак, что творил, прости и помоги, Отче наш...

— Ну, пошли, — говорит Втупякин, — хамить, повторяю, не вздумай, пощупать не стремись. Она — сама не слепая. Не ошибется.

— Это — верно, — говорю, — я ведь узнал ее, и она должна не промахнуться, что с того, что много очень лет прошло...

Костыль сует мне новый Втупякин. Выкинутый мальчишки утащили для игр военных. Разорилось родное правительство на костыль инвалиду, калеке войны, на палку, видать, не хватило, все в космос ушло... Ладно...

Идем куда-то по коридорам. Прихожую дурдомовскую миновали... Налево. Направо... Дышу с трудом... На костыле обвисаю... Сил нет ни в ноге, ни в сердце... Тьма... Зуб на зуб не попадал бы, если б таковые имелись...

— Ну, садись, Байкин, и сиди спокойно. Воды вот попей. — Втупякин это сказал. К стулу меня подтолкнул. Сел я. Водички попил. Валерьянка в ней была. Сажу. Жду. Сейчас, думаю, Нюшку введут, по шагам узнаю ее, помню, как летала по хате, половица не скрипнет, только ветерком тебя обдает... Дождались свиданки. Какой я ни на есть развалюха, а все же живой человек, не мертвый, вроде Лени и Ленина... Простишь ли ты мне, жена, тех бабенок колхозных, несчастных вдов и горячих во вдовой безысходности существ? Простишь ли грех, обрекший двух родимых людей на вечную почти разлуку?

— Кто тебя мерзостью этой напоил, — спрашивает с интересом Втупякин.

— Ленин, — отвечаю с охотой поговорить, потому что невмочь молчать в ожидании свиданки.

— Одни пили, или еще кто с вами был?

— Маркс еще молодой был, но не надо меня Байкиным называть при жене. Не называй больше.

— Не он это. Не он, — сквозь слезы выкрикнула вдруг женщина в помещении этом. — Ни ростом, ни лицом, ни фигурой не вышел... Уведите вы его несчастного больного человека ради Бога. Сил моих нету.

— Хорошо присмотрелись, Анастасия Константиновна? — спрашивает Втупякин, а я ушами продолжаю хлопать.

— Чего уж тут смотреть... горе одно...

— Слышал, Байкин?

Я то слышал, но не признаю Нюшкино голоса за давностью в тридцать с лишним годочков. С мыслями собираюсь ошалелыми. Если б не химия, я бы быстрее распорядился, не припоздал бы тогда.

— Господи. На что только в жизни не намотришься, — говорит напротив меня женщина и волнение такое вдруг потрясло сердце от того, что ЕЕ это голос, ЕЕ, что сорвался я с места ей навстречу, но санитарские и Втупякинские чугунные руки пригвоздили меня к месту.

— Нюшка! — ору, — Нюшка! — Но издаю, маршал, к ужасу своему мычание, коровье мычание и ничего больше, как на поле боя после контузии и еще пару раз после белых горячек.

— Не мучьте его... уведите Христа ради... если нету у него никого, вот... денег возьмите на всякую прибавку...

— Нюшка, помнишь, как сказал я тебе, чтоб подумала выходить за сынка расстрелянного? Помнишь? — говорю это и еще что-то из знакомого нам обоим, губами шевелю с выражением, но мычание лишь безнадежное вырывается изо рта моего напрягшегося до предела.

— Ну, пошли, Байкин, пошли, будет, успокойся, — подталкивает меня Втулякин.

— Помнишь, Нюшенька, загашник я тебе оставил — три монетки золотые, царские червонцы? — ору и понимаю, что мычу я, мычу и мычу, не могу остановиться. — Я — Петька твой. Петька. Признай меня. Прогони их из комнаты... я тебе ночь нашу первую от души припомню... не уходи только... только не уходи навсегда...

— Да уведите вы наконец человека. Что вы мучаете его? — вскрикнула моя жена, я рванулся к ней снова, но тут подхватили меня под руки и поволокли прочь, рот затыкают, как всегда в таких случаях, чтоб на мычал. Укол какой-то прямо на ходу воткнули гадуки, бьюсь у них в руках, вырываюсь, потом провалился в невменяемость...

...Сижу потом в курилке, курю и думаю с терзанием: как это я не учуял, что сидела она в комнате, когда мы заявили туда с Втулякиным? Как же я дал маху такого непростительного? А все сослепу. Глаза не видят, значит никого как бы и нет рядом... С неделю лежал я в отключке, пока не очухался... Прозреть начал постепенно, но радости от этого не чую никакой. Зачем мне все это дело с жизнью на земле?

— Только, Петя, в уныние не впадай, — увещевает ласково батюшка. — Все наладится у тебя. Терпи. Выйти отсюда — твоя задача. А там через СЛОВО образуются так или иначе ваши отношения. Ты уж немало бесов одолел, от дури ленинской спасся, неужто теперь сдашься на милость сатаны? Обводи змея вокруг пальца. Мы, Петя, живучими должны быть непобедимо до самого конца, за пределом сил нас самих попросят сложить руки на груди и глаза прикрыть упрямые, не беспокойся, милоч.

— Дело, — отвечаю, — говоришь, батюшка. — Будь по-твоему. Но сам ты ни в коем случае химию не глотай, не то они вытравят из тебя все святое и в мычащую скотину превратят... Вон — диссиденты, послушались бы меня с самого начала и не продемонстрировали бы со сцены тупость личности перед повышенцами. Хорошо еще, что вовремя спохватились. Тут главное — идиотом вылечившимся придуриваться, а быть себе на уме. Теперь я и поведу такую политику отступления перед хитрым маневром, я ведь, как ни говори, дивизию целую спас и дух победы внушил унылым вооруженным силам. Крестьянским умом ворочать надо, а не комиссарским... Хорошо как, братишки по несчастью, видеть ваши мужественные лица... спасибо вам... после Лени и Машки с врачихой не было у меня в жизни верных друзей...

— Слушай, Байкин, — говорит Втупякин, — ежели ты лечению не поддашься, то сгниешь в дурдомах как социально-опасный урод общества.

Выбей усилием воли наподобие Николая Островского дурь из головы. Прими помощь химии и советской медицины. Партия зрение тебе вернула, подлецу, хотя и не следовало таким, как ты, возвращать некоторых органов чувств. Я из-за тебя диссертацию с хорошим концом никак не защищу.

— Спасибо, — говорю, — доктор, полегчало мне после свиданки значительно. Перестаю быть неизлечимым животным, распад личности превозмогаю. Никакого комиссара я на войне не убивал. Проклинаю алкоголическое прошлое своей заклиненной жизни... контужен, одним словом, спасибо...

Подозрительно глянул на меня Втупякин, но рад. По два часа бывает в кабинете держит, спрашивает, анализы проводит, фотографирует, ручки потирает довольный, а я смеюсь про себя, когда прикидываю, что будет с втупякинской харей, когда выпишут меня и найду я Ньюшку, и никуда она не денется от признания своего мужа... Придем мы в дурдом, вызовем в приемный покой Втупякина, а на груди у меня геройская звездочка безо всякого ордена Ленина. Этот орден мне не нужен. Я из него сделаю зуб золотой. И скажу я Втупякину так:

— Лишать тебя докторской диссертации мы не желаем, потому что кроме нее у тебя, свиньи, ничего нету за душою. Жаловаться не собираюсь. Некому жаловаться. Такие же мерзавцы тупые окружают нас, как ты сам, и нечего зависеть от них нашему достоинству и жизнелюбию. И вылечить мы вас не можем, ибо не такие самоуверенные коновалы, как вы. Убивать тебя я больше не

собираюсь. Живи, гад. Мы же подождем, у нас времени много, пока не изведетесь вы сами, вроде динозавров, несовместимых с дальнейшим проживанием на земле и с продолжением рода человеческого... Живи, но пусть тебя смущает содеянное, так чтобы пришел к смертной минуте без покоя в душе. Это и будет казнью твоею, которую, даже если очень того пожелаешь, никак уже не отворишь. Живи...

— Когда выпишут тебя, — говорит Втупякин, — каждую неделю являться будешь за лекарствами. Без них ты долго не протянешь. А водки не пей. Не то укол сделаем от которого алкоголики умирают прямо под столом. Иди в палату. Забывай все, чего ты от врагов общества наслушался и не вздумай разглашать.

— Не собираюсь, — говорю, — и без меня все известно.

— Умничай поменьше. Видишь до чего умничанье доводит таких, как Григштейн, Степанов, поп Дудкин и Маркс с Лениным? Иди и вели всем на просмотр хроники идти, чувства реальности набираться...

И что ты думаешь показывают нам, маршал? Тебя нам показывают в красном уголке. Всего вроде бы успел нахапать, но золотой медали Карла Маркса тебе не хватило, спать, наверно, не мог спокойно без нее.

Ну и поохотали мы все, ровно Чарли Чаплина нам показывали, когда начальник Академии Наук вылез и такую выразил похвалу:

— Это высшая награда... присуждена вам, выдающемуся деятелю мирового коммунистического и рабочего движения, за ваш исключительно

большой вклад в развитие теории и практики марксизма-ленинизма в условиях современности.

Не стовариваясь грохнул весь красный уголок вместе с санитарями и врачами. Чего уж они не удержались не знаю. Смеху трудно сопротивляться, маршал. Ты ведь и сам, небось, домой причапал после обмыва медали за научную разработку актуальных проблем развитого социализма и с бабой своей обхохотался над перепуганными до смерти и потери лица академиками, над выжившими из ума жополизами и врялями. Ты же лучше их знаешь, что ты за теоретик и грамотей.

Как простому человеку не задуматься над всем этим кино-цирком, если здоровых держат в дурдоме, а на воле такое сумасшедствие происходит с вашей общей манией величия и преследования, что только хохотать остается, тем более, что Чарли Чаплин, говорят, умер, а смешного с каждым днем становится меньше и меньше.

И брось ты это дело, маршал, пока не поздно. Выгнал нас из красного уголка Втупякин, к телевизору не велел подпускать целую неделю в наказание за откровенный смех. На врачей и санитаров наорал, злодей со стажем.

Вот и кончается история болезни молодого Маркса. Последняя остается страничка, маршал, которую употребляю на просьбу о прочих невинных и здоровых людях заточенных в наш дурдом и другие психушки.

Сними со всех постов и отовсюду Втупякина. Без этого всем нам — людям и Родине нашей России — выпадет неслыханная беда... двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили нам

объявили что началась война порой ночной мы расставались с тобой синенький скромный платочек падал с опущенных плеч ты говорила что не забудешь тихих и ласковых встреч... плачу, маршал, плачу и слезы свои, клясочки фиолетовые, кружочками дрожащими обвожу...

КОНЕЦ

Миддлтаун. 1981 г.

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Никита Хрущев, Воспоминания, карманный формат, цена -- 12.00

Никита Хрущев, Воспоминания, книга вторая, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России), цена -- 7.00

Коран. Перевод *Крачковского*, карманный формат, цена -- 20.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена -- 5.00

Николай Евреинов, История телесных наказаний в России, цена -- 15.00

Николай Валентинов, Встречи с Лениным, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Иностранец в России, юридическая памятка, карманный формат, цена -- 6.00

Петр Гарви, Профессиональные союзы в России после революции, цена -- 7.50

В. Буковский. Письма русского путешественника. Цена 12.00

Хельсинкское движение, цена – 7.50

Николай Новиков, Эрнст Неизвестный: искусство и реальность, цена – 10.00

Серан Киркегор, Наслаждение и долг. Репринт, 420 стр., цена – 15.00

З. Авалов, Присоединение Грузии к России, репринт, 320 стр., цена – 15.00

СССР: внутренние противоречия, редактор **В. Чалидзе;** цена выпуска – 15.00

Зимин, Социализм и неосталинизм, цена – 9.00

Цыганско-русский словарь, репринт, цена – 25.00 (малотиражное издание)

Ответственность поколения, цена -- 8.00

Интервью **В. Чалидзе** с Татьяной Литвиной, Виктором Некрасовым, Владимиром Максимовым, Мстиславом Ростроповичем и другими.

Георгий Федотов. Россия и свобода, цена – 15.00

О. Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире, цена – 12.00

Проблемы Восточной Европы, ред. **Франтишек и Лариса Силницкие** цена выпуска – 9.00

Л. Копелев. На крутых поворотах короткой дороги. Цена 7.00

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть. Цена 7.00

Солженицын в Гарварде. Пер. с английского.
Цена 15.00

И. Яхот. Подавление философии в СССР
(20-30 гг.) Цена 15.00

Б. Рассел. История Западной философии. — 30.00

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.
Цена 15.00

П. Кушников. Армейский дневник 1917 года.
Цена 10.00

**Законодательство о религиозных культурах
в СССР.** Цена 9.00

Р. Орлова. Последний год жизни Герцена. — 6.00

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. — 8.00

З. Фрейд. Толкование сновидений. — 15.00

Грузинская кухня. Цена 6.00

Русскоязычный Нью-Йорк — 1982. Цена 1.00

Александр Дюма. Ожерелье королевы. \$ 9. 50

Добавьте 50 центов за пересылку каждой книги.

Заказы направляйте по адресу:
CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018



Юз Алешковский

Фотографии работы Льва Нисневича